

Александр

О Д А

к радости

Иванов

в предчувствии

ТРЕТЬЕЙ
МИРОВОЙ

Александр Павлович Яблонский

Ода к Радости в предчувствии Третьей Мировой

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51401380

Ода к Радости в предчувствии Третьей Мировой (Сказки для взрослых среднего и старшего школьного возраста)/ Яблонский А.: Водолей;

Москва;

ISBN 978-5-91763-456-2

Аннотация

Александр Яблонский – русский писатель, профессиональный музыкант; с 1996 года живет в Бостоне; автор книги «Сны», романа «Абраша» (лонг-лист премии «НОС», 2011), антиутопии «Президент Московии», романа «Ленинбургъ», вошедшего в двухтомник избранной прозы «Изношенный халат» (1917), повестей, рассказов и научных статей.

«Ода к Радости» – возможно, лучшая книга автора. Подобно детективу, в завязке которого заложены многочисленные внешне не связанные события и образы, она интригует непредсказуемостью, динамикой и переплетением повествовательных линий, судеб исторических и «собирательных» героев, авторских реплик и исторических экскурсов, лирических сюжетов и страшных будней Великой войны. Автор всматривается в «клубящийся густой туман»

совсем ещё недавней истории, пытаясь осмыслить и переосмыслить ее, находя аналогии и причинно-следственные связи со смутным настоящим и непрогнозируемым будущим, стремясь определить место человека в замесе «войны и мира». Удастся ли автору таким образом создать цельное органическое полотно, – может быть, это и есть главная интрига книги.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

152

Александр Яблонский

Ода к Радости

в предчувствии

Третьей Мировой

(Сказки для взрослых среднего
и старшего школьного возраста)



Обнимитесь, миллионы!

Слейтесь в радости одной!

Там над звездною страную
Мир любовью озарен!..

... *Небес тревожна желтизна,
Уж над Ефратом ночь, бегите, иереи!*

* * *

Действующие лица:

Софья Андреевна – дама достойная во всех отношениях, периодически икает от переедания.

Охлопков – доцент.

Ататюрк.

М-м Поцелуева с сыновьями – женщина; леченая от триппера вдова сверхсрочника ВДВ Квакина, депутат. Действует за сценой.

Ахмат – дворник, Ударник Труда; с 2:30 до 4:00 пополу-
дни трезв.

Автор – пианист без определенных занятий, тип.

Все остальные.

* * *

.....

– Маменька, поставьте чай!

– Олух! Чай не ставят. Воду ставят кипятиться. Чай уже потом настоится.

– Чтобы у меня так стоял, как ваш чай настаивается, маменька! Полгода ждать!

* * *

«Не надо петь мне о народе, о крестьянстве. Я знаю, что это такое».

(В. Шаламов, «Четвертая Вологда».)

* * *

Саша Соколов – мой тезка. Тоже Саша, и тоже родился в 1943-м. Правда, он в Канаде, а я в Ленинграде. Я хоть талоны на дополнительную гуманитарную помощь имел и удостоверение «Житель блокадного Ленинграда». А он? И в пруду я купался, что около станции, как и он. Тут большого ума не надо. Грязный был пруд. Но в писатели не вышел, как он. Это тебе здесь не Канада.

* * *

Немцы вошли под утро. Неожиданно и спокойно. Такие

ребята деловые. Рукава закатаны по локоть – работники, сноровистые. Улыбаются. Лица загорелые. Лбы молочно-белые. Каски сняты, висят, болтаются. Беззаботные. Жиличка за стеной ревмя ревет. Воеет. Чует. Проспала, не успела драпануть. Немец в пруду искупался. Потом у колодца окатил себя водой. Внимательно вытерся сохнувшим чистым бельем, висевшим во дворе, присел три раза. Руки в сторону, вперед, в сторону. Порты натянул. Freude, schoner Gotterfunken, Tochter aus Elysium! Гейдельбергец! Вошел в горницу. – Матка! Hände hoch! Ха-ха! Witz! Has du Schmalz? Сало, Сало! Gut! Жиличку из комнатки вытащил, посмотрел, пощупал, ещё больше заулыбался. – Jude? Руки вытер о скатерть. Посмеялся, шнапс налил. Выпил. Gut!

* * *

Голос был вежливый до тошноты. «Вход с Воинова. Подъезд номер 13. Пропуск будет заказан... Да, в бюро пропусков на Каляева. Всего доброго. Постарайтесь не опаздывать. И, конечно, э...вы сами понимаете...». Что брать? Носки вязаные две пары, трусы, свитер, нет, свитер надеть, зубную щетку, порошок, носовые платки. Хотя, зачем они там... Маме сказать? Рубаху-ковбойку, майку, нет, лучше ещё один свитер – тоненький. Если сказать, спать не будет ночь, может и до утра не дотянуть. А не сказать... Ну, сутки можно проволынить, мало ли что – запил или на какую-нибудь по-

другу упал. Это бывает. Но догадается, у нее интуиция. Когда в ментовку замели, сразу сказала папе: «Сашу арестовали!». Нет, это папа сказал: «Саша в милиции. Чувствую!» У него потом инфаркт был. Но там утром выпустили. А тут не выпускают. Туалетную бумагу? – Бред! Чем там подтираются? Не газетами же ихними, коммунистическими? Надо сказать Илье, чтобы он подстраховал, позвонил вечером и брякнул между прочим, что я у них со Светкой остался ночевать, а там уж... Хотя предупредили же... Оттуда не выпускают. Кто стуканул? Господи, и поцелуй-то был скользкий, без продолжения, и не я же начал, хотя нет, я всегда первый начинаю, но она так прильнула, так...

* * *

А утро ласковое, прозрачное. Такое только в детстве бывает. Стрекозы хороводят над рекой. Перламутровое ожерелье. Туман отслоился. Лариска знает, что мальчишки из кустов подглядывают, поэтому купается нагишом. А что у нее смотреть-то?! Стиральная доска и то выпуклее. Мальчишкам же все равно, им сам процесс интересен: незаметно подползти, спрятаться... Там ими Квакин верховодит, второгодник. Девчонки тоже лазили подсматривать. Рассказывали, что ничего интересного. Малюсенькие хвостики-крантики спереди висят. И как ими что-то нехорошее делают, о чем второгодник рассказывал? А ещё интересно, умеют ли

стрекозы думать, вернее, не думать, а что-то понимать? Висят, висят и вдруг, и все вместе помчались по кругу, как по команде. Опять зависли и – фьют – усвистали куда-то. Интересно, Тимур, когда был маленький, лазил за девчонками подглядывать? Он иногда приезжает, и все в него влюблены. Всё в мире интересно. Вот и бабки наши, болтуши. Одна Аграфена чего стоит! Языком метет, как помелом. Утром у Стахановых чихнули – на ферме уже знают, а в сельсовете здоровья желают, грамоту пишут с печатью. Но никто ни Тимуру, ни Сане-счетоводу, ни ихнему старшему – Николаю, которого на войне убили, – никому про Тошу ни слова не сказал и не говорит. Страшно.

* * *

Выйдя из номеров, куда переехал из маленькой комнатки на Гран рю де Пера, по привычке и обычаю шел он к «Карпычу», заходя в увеселительный сад Пти-Шан, где ненадолго присаживался, с удовольствием вдыхая теплый, чуть пыльный, но ещё свежий воздух лениво просыпающегося города. Над ещё сонным садом плыл аромат маленьких, старых, неспешных, грязноватых и тесных кофеен, кальянных комнат, закрывшихся под утро, недавно обосновавшихся здесь русских заведений, называвшихся «Кондитерскими» и работавшими – неслыханное дело – 24 часа, куда потянулись местные жители, отдавая предпочтение русским сладостям

перед местным заварным кремом *мухаллеби*. И аромат цветов. Cite de Pera оккупировали цветочницы из погибшей Империи всех возрастов, ступеней социальной иерархии, национальности, внешности, но в одинаковой степени привлекательных, как правило, коротко стриженных, что было так экзотично и *charmant*-турчанки как с ума посходили от этой новой моды *à la russe*. Вообще эти русские переполошили досель провинциальных местных барышень и матрон. Многие по примеру северных красавиц отказались от вуалей и увлеклись марлевыми повязками или тюрбанами на голове, стали устраивать балы-маскарады и чайные посиделки, познали запретный ранее отдых *на пляже* (новое слово!) – это, согласитесь, нечто невообразимое и небывалое до высадки беженцев из Крыма. Цветочницы – девицы, дамы, девочки и их матери, жены генералов и невесты юных корниловцев, образуя две благоухающие, радужно переливающиеся жизнерадостные линии вдоль стен Пассажа, который вскоре переименовали в Цветочный, дали этому старому турецкому району очарование молодости, надежды, европейского изящества.

Много лет спустя, завершая свою долгую и чудную, несмотря ни на что, жизнь, исколесив полмира – от Буэнос-Айреса до Воркуты, полюбив Париж и Прагу, радостно вдохнув воздух родного города на Неве (увы, недолго длилось это счастье), именно здесь – на Пера – он, как и многие, если не большинство русских: галлиполийцев и по-

жилых фрейлин, обритых наголо из-за страха перед вшами, офицеров и писателей, приват-доцентов и борцов «французского» стиля, студентов и мелкопоместных помещиков, камер-юнкеров и брадобреев, чиновников разных классов и классных дам, земских врачей и портных, банковских служащих и композиторов, лидеров партии «октябристов» в Думе и рядовых боевиков – социалистов-революционеров, казачьих старшин и священнослужителей, заводчиков и биржевых шулеров, кадетов и станционных смотрителей, мелких купцов и разорившихся аристократов, продавщиц и прачек, «русских» (то есть «лучших») «механиков» – шоферов и артистов Императорских театров, РМО, кафешантанов, цирка Чинизелли – «цвета Петербурга», обитателей «Пера Палас» – кто мог себе это позволить, и района Харбие, а также русских церквей и монастыря – всех остальных, неимущих, – как большинство русских на Босфоре, он с ностальгией вспоминал Константинопольское стояние, считая его лучшим временем в изгнании. Здесь они были «почти дома».

И впрямь: в «Черной розе» пел Вергинский, такой же изысканный, грацирующий, жеманный, и также неистовствовала публика, как некогда на Вилле Роде, внове было лишь то, что каждый вечер по *телефонному аппарату* заказывал столик Верховный Комиссар всех оккупационных войск контр-адмирал САСШ Марк Ламберт Бристоль, который прибывал к ночи с супругой и свитой в ожидании выхода кумира Пера и своей любимой гусарской – «Оружием на

солнце сверкая...».

Чуть в сторону от Пера – «Русский маяк». Выставлявшие там свои работы отечественные художники в ранний утренний час ещё спали, но к вечеру русская жизнь бурлила: суетился импресарио художников Петр Караваев; Павел Луниц, прекрасный петербургский пианист, подходил к роялю – его сольные концерты были визитной карточкой «Маяка»; дирижер Иван Полянский репетировал со своим оркестриком. Всё как дома. Как дома и игорный дом – как же без игорного! Его содержал господин Альдбрандт. Из Одессы, вестимо... Кажется, там играл любимец Петербурга, а потом и Константинополя, балалаечник Жан Гулеско. Наивные турки заходились в восторге, внимая его залихватским переливам. А «Русский книжный писчебумажный магазин и библиотека». Писателей было много. Бежали, бежали. И рестораны! Где бы ни был русский человек, что бы с ним ни случилось, но любил он погулять, хоть на последние, хоть с выигрыша – это до подштанников, хоть от счастливой любви, хоть от измены, хоть с горя, хоть и со скуки, – как не погулять! Хоть в Москве, хоть на Пера – выбор большой: «Яр» и «Гнездо перелетных птиц», «Зернистая икра» и «Эрмитаж», «Украинский борщ» и «Золотой петушок». «Максим» и «Медведь», «Московит» и... Всех не упомнишь.

Встретив жену, с которой расстался в 17-м, некогда звезду российской оперетки Валентину Пионтковскую, открывшую и держашую варьете «Паризиана» – излюбленное место эли-

ты экспедиционного корпуса, бывший миллионер, коннозаводчик, крупнейший домовладелец, а ныне нищий Владимир Петрович Смирнов открыл на деньги своей экс-супруги завод «Смирновское белое вино». Нищий – в прямом смысле: как у большинства остальных беглецов, в тощем узелке у сына и наследника 15-миллионного состояния отца была одна ценная вещь: семейная намоленная икона. Каждый, попавший в этот фантазмагорический и жуткий переплет, выживал, если делал то, что умел делать лучше других, а уж кто-кто, как не Владимир Петрович, лучше всех знал технологический процесс виноделия, секреты своего отца – Петра Арсеньевича, основателя мощной фирмы «Товарищества П. А. Смирнова», многие рецепты были записаны рукой самого Владимира Петровича и сохранились в его памяти и нищенских пожитках беглого офицера Белого движения... Именно он позже, во Львове, дал своему изделию название «Смирновская водка» вместо ранее привычного – «Смирновское белое столовое вино №...» (Лучшим «белым вином» считалось «Белое № 21»).

И многих нет уже в живых, тогда веселых, молодых. Мадам Жекулина открыла русскую гимназию. Как дома. Гимназистки румяные... На балах юнкера галантно приглашали на тур вальса этих девочек, ещё не осознавших, что их ждет в будущем. Здесь они были *почти дома*. Потому что рядом с домом, куда, несомненно, должны вернуться. Вот-вот. Любой кошмарный сон заканчивается. Проснешься – утро, и за-

быт ночной ужас. И эта жуть ненадолго. Ну, месяц. Ну, полгода от силы... И были они все вместе. Не в рассеянии, как после 24-го года...

...Из притихшего сада Пти-Шан можно было направиться прямо к «Карпычу». Напротив, через дорогу. Однако ещё рано. Посему он совершал небольшой променад. Навстречу ему шли соотечественники. Господи, сколько их! Многие кланялись ему, а некоторые дамы – выпавшиеся цветочницы и поспешавшие в свои постели уже отработавшие певички из кабаре «Стелла», которое держал знаменитый московский джазмен – негр Федор Федорович Томас, слушательницы Русского лицея старших курсов и домохозяйки, торопившиеся на рынки, продавщицы парфюмерных магазинов и машинистки бесчисленных редакций, контор, *офисов* (это было новое слово), элегантные официантки утренних кафе, как правило, из высшего столичного света, уборщицы гостиниц и частных домов, безработные выпускницы Смольного института, да и просто женщины, которые взломали нормы мусульманской морали, пользовавшиеся огромным спросом у турецких мужчин – стали рушиться семьи! – некоторые из них, этих милых ему соотечественниц, даже посылали ему воздушные поцелуи. Он был юн, статен, аристократичен. Его «родовое» имущество составляли идеально пристреленные самозарядные пистолеты Парабеллум (Walther 6) калибра 9 mm, дедовская икона, пара фотографий из прошлой царско-сельской жизни, последнее письмо от мамы. Но какое это

имело значение?!

Порой он встречал баронессу Врангель с детьми и небольшой собачкой. Ее сын, лет десяти, неизменно в черкеске с газырями (как у папы) и с настоящим кинжалом в ножнах на середине пояса... Вот его обогнал, поклонившись и приподняв шляпу, профессор по разделу Высшей математики Петербургского университета (фамилию его он запомнил), который служит кассиром в ресторане Rejans. Около редакции газеты «Presse du Soir», что невдалеке от Русского Консульства, массивная фигура человека, тщательно одетого, с бритым лицом, толстыми губами и странным взглядом из-под пенсне. Это Аркадий Аверченко. Остановился, перекинулись новостями. «Они ещё в Кремле» – «А вы сомневались?» – «Засиделись!» – «Они там навсегда. Других для Кремля в России уже не осталось. Вывелись!». У окна кафе-кондитерской «Петроград Пастанеси» за столиком сидит жена последнего русского посла, она дает уроки французского и английского, однако ее рабочий день ещё не начался. Он поклонился ей. Около «Карпыча» мальчишка, из благородных, истошно кричит: «Пресс дю Суар! Пресс дю Суар!» Покупайте, господа!». А вот и вывеска: «**Ресторанъ Георгія Карпыча**». Ресторан ещё закрыт, но ему можно. Он здесь свой.

У «Карпыча» он сел в дальний угол. Половой, смахивавший несуществующую пыль со столиков, протирая блистающие чистотой стаканы или кружки – готовясь к трудово-

му дню, заметив его, сразу нес стакан крепкого чая в массивном именном подстаканнике. Юрий Карпович в самом начале их знакомства, перешедшего в доверительную дружбу, делал попытки угостить его обедом или хотя бы легкой закуской. Однако *Николя* так глянул на Карпыча, что тот третьей попытки не делал. Лишь дважды Николя согласился выпить предложенную рюмку водки, да и то – по очень значимому поводу. Первый раз, когда разнеслась весть, что этот сифилитик сдох. Весть оказалась ложной – ихнего главаря только хватил удар. Но и эти пару часов, пока радостный слух не опровергли, пару часов счастливой надежды, первой после рейда Май-Маевского на Москву – почти дошли! – можно было отпраздновать. (В отличие от всех остальных, он не верил, что смерть тирана что-либо изменит на Родине: ушел этот, придет другой, проклято место в России пусто не бывает; проклятая страна и ее народ-богоносец, но, право, если одна сволочь наказана Господом, это уже счастье). Второй раз была личная причина. Грустная. О ней он старался не вспоминать.

Он любил сидеть и приглядывать за жизнью этого необычного ресторана. Юрий Карпович являл собой пример не только ресторатора, но и воспитателя. Поэтому турки так любили посещать это заведение, сияющее чистотой и порядком. Они не только обедали или ужинали, но и постигали азы европейской культуры застолья. Не раз наблюдал он, как официант стенал: «Так я же чаевые не получу, ежели буду

медлить! Они же – турецкие господа – любят быстро поесть, торопятся. Могут и обругать вместо чаевых!» – «Да, голубчик. Могут и по мордасам надавать. Однако ж, если вы подадите, милейший, мясо ранее, чем через восемь минут после супа, я сам лично вас выгоню отсюда. Они должны привыкнуть есть с удовольствием и чинно». Карпыч шутить не любил, и это вся обслуга знала. Вымуштровал.

Сам Ататюрк иногда заходил к Карпычу. Николая его не видел, но официанты не ввали. Вообще, первый Турецкий Президент, а тогда ещё Председатель Великого национального собрания был прост и не гнушался выйти в люди. Как и его лучшие ученики и последователи. Гитлер называл себя «вторым учеником Ататюрка после Муссолини». К тому же османский реформатор любил выпить. Собственно, алкоголизм, постепенно прогрессирующий, и сгубил его значительно позже – в 38-м, когда Николая уже давно в Стамбуле не было. Однако не только пагубное пристрастие и желание предаться ему в чужеземном заведении привлекала Мустафу Кемалю – под этим, подлинным именем он запомнился Николаю. Что-то особенное манило будущего турецкого диктатора к Карпычу и его ресторану. Значительно позже Лида Арзуманова, ставшая со временем Лейлой Арзуман, но которая до этого события основала первую балетную школу в Турции, эта Лида писала ему, Николаю, что Ататюрк переманил Карпыча в Анкару, где последний долго успешно процветал. Даже после смерти Ататюрка.

С Юрием Карповичем свела его судьба в лице двух женщин. А если совсем точно, то мужа одной из них и командующего этого мужа. Иногда Николая думал, что не будь того случая, не замолви Александр Павлович словечко его прямому командиру – генерал-майору Николаю

Владимировичу Скоблину, не прими участие в его судьбе Надежда Васильевна, как бы сложилась его судьба? И сложилась ли бы? Уж точно не был бы там, где сейчас заканчивал свои дни. Но, с другой стороны, скорее всего, не дожил бы. Покоился бы на греческом кладбище в районе Шишли или, скорее, на Большом русском военном кладбище в предместье Галлиполи.

* * *

Доцент Охлопков был очень хороший доцент. Возможно, даже лучший доцент из всех доцентов. Иногда создавалось впечатление, что и в детстве он был доцентом. Вот, например, ему девять лет отроду, а он уже доцент, и все знают, что он уже доцент. И он знает, что все знают, что он уже доцент. Может, потому, что на лбу у него написано, что уже доцент. Но на лбу у него ничего раньше не было написано. Да и сейчас! Вообще – НИЧЕГО! Такой голый зябкий лобик. А над ним волоса начинаются. Реденькие, правду сказать: как их ни завивай, они всё равно торчком торчат. Но и с такими волосами видно, что он доцент. Вот в бане – не

всегда. И не потому, что там доцент голый, – там все, как на-зло, голые ходят. Срам один. Просто очень парно и не видно: люди всматриваются, не доцент ли там Охлопков мочалку намыливает, но не отчетливо. Может, и он... Кто разберет? Вот и случилась с ним такая канитель. Просто влип! Шел он, значит, с поминок. Поминки были слабые. Мог бы и не ходить. Но усопший был противный тип. Оч-ч-чень против-ный. Профессор. Тихоня, ручки беленькие потирает – вер-нее, потирал, уже больше не потрет; так вот, потирал и что-то умное говорил, хрен разберешь, и по-немецки, и по-англий-ски, и по-латински лопотал; беспартийный был, но квартиру имел в две комнаты с ванной и жену молодую. Оттого, навер-ное, и дал дуба, коньки сбросил, ласты отцепил. Из интел-лигентных. А поминки оказались неразборчивые. Как поло-жено, сначала кутья, это доцент знал, никуда не денешься. Покушал – раньше никогда не пробовал. Вкус не расчухал. Потом молчание, глаза в скатерть, иль в кашу аль кисель, за-тем не чокаясь – это уже лучше, опять помолчали, разговор тихий, как у порядочных, опять не чокаясь. Кто-то всхлип-нул. И так минут десять, если не больше. Не привыкать. Ну, а теперь, по обычаю, кто-то должен бы сказать: «Товарищи, а покойник-то, Ляксандр Палыч, был веселый (или жизне-радостный, или оптимистичный, или светлый) человек. И шутку любил, и песнь хорошую». А тут какая-нибудь дама из просвещенных или разведенная: «Вот смотрит он на нас сверху и радуется, что мы вот так, по-семейному его вспо-

минаем», – и случайную слезу кружевным платочком оботрет да сама себе полную рюмку нальет. Выпивки, слава богу, не пожалели. «Вспоминаем и помнить будем всегда», – с достоинством и авторитетом пробасит проректор по хозяйству Института, а вдова вдруг зло на него зыркнет. И правильно зыркнет: этот не забудет, пожалуй, пьянь болотная, дятел. Стучит и стучит. Жена его с ректором спит, иногда даже в кабинете, чуть диван не обрушили, доцент Охлопков доподлинно знает, секретарша нашептала. Опять не чокаясь, а тут и время расслабиться. Ан нет. Скорбь хороша в меру. А у этих – у профессоров – все не как у людей. Не любил их доцент Охлопков. Так и просидели в ихних воспоминаниях тихими голосами и шмыганьем носами. Разведенная попыталась запеть: «С чего начинается Родина», – эту песню было принято петь на поминках, свадьбах или крестинах с 2000-го года: патриотично и верноподданно. Но ее не поддержали, сделали вид, что слова забыли. Голос же у разведенной противенький, и слух не ночевал. Да и потом пахнет. Сутулый аспирант, из евреев, что-то стал говорить о гибели науки, одичании, воровстве, мракобесии, лизоблюдстве, кумовстве, плагиате; доцент Охлопков даже слушать не стал, только записал фамилию на пачке «Беломора», чтобы не запутаться в этих буквах «х», «ц», «р». Короче, выпил доцент Охлопков свои 350 грамм, пожевал кашу для приличия, винегретом подкрепился, навернул три бутерброда с докторской колбасой и один со швейцарским сыром. Ломти колбасы и сыра

были толстые. Всё ждал, когда кто-то начнет анекдоты рассказывать, самому начинать было боязно – вдруг не засмеются... Анекдотец у доцента был припасен для этого случая грамотный, филологический – для умных. Сейчас расскажу: Один профессор или академик – ещё при старом режиме – пришел в гости к другому академику, а у него, у пришедшего академика, фингал на морде лица нарисовался с кулак. Синне-бирюзово-фиолетовый. Лиловым переливается. Сначала все молчали, вид делали. А потом одна барыня набралась маленько «Клико» и спрашивает, мол, откуда такое сокровище на роже. Ну, академик, понятно дело, и отвечает: «Давеча на обед к генералу Г. приглашение имел. А рядом со мной один гусарский офицер сидел. Он и рассказывает, что был у него в роте один х***. А я его прерываю и говорю: помилуйте, это же не грамотно. Надо говорить не в *rote*, а *во рту*!» Ну и вот». Такой анекдотец. Не дали рассказать. Посидел в печали доцент Охлопков для приличия и чая дожидаясь. Без сладкого он обычно из гостей не уходил. Однако увидев лишь кисель, засобирался. Якобы в туалет. По надобности. Надобности особой не было, но почему не сходить за те же деньги. А потом тихонько и шмыг. Только вдову сочувственно, но, надо честно признаться, без особого удовольствия поцеловал – она на кухне отсидивалась.

Так вот, идет он спокойно после поминок, хотя поминки какие-то невразумительные были: ни попеть, ни пообщаться нормально – идет себе, идет и вдруг видит.

Странно... Боль стала мягко истаявать, отступать без сопротивления и огласки. Зато навалилась сонливость. Тягучая и беспощадная. Это плохо. Можно не успеть. Главное не поддаваться ей, пока Лиза не придет. Лиза-Лиза-Лизавета, я люблю тебя за это. Почему стало так тихо? Надо позвать Сергачева. Он, наверное, тоже уснул. Тогда боль стала отпускать, как и нынче; нет, не боль, а страх. Даже не страх, а растерянность и паника, а это хуже боли. Нет, и страх тоже. Тяжелый, обезноживающий. И на опустевшее место вкрадчиво вползла эта противная обезоруживающая сонливость. Может, она и спасла тогда. Сегодня уже не спасет. Какой-то странный звук, будто кто-то свистит в ухо. Чуть слышно. Фью-фью-фью... Почему-то остались в памяти щербинки на его лице. Смотрел он скорее ласково, но была страшна эта ласковость. С такой лаской смотрит пума на уже беспомощную жертву. Трепыхайся-трепыхайся, у меня время есть... Что может быть слаще – смотреть на агонию врага...

– Сергачев!

– Это я, Топилин, товарищ командующий армией. Сергачев вчера был убит. На ваших глазах. Он вас прикрывал.

– Я помню. Прости. Слушай, Топилин, сходи в медсанбат, если они ещё живы. Позови мне э...

– Мединструктора. Я понимаю. Так они же рядом, за...

Будет мигом сделано.

– Если она оперирует, тогда не надо. Нет, надо. Надо, Топилин. Как только закончит, пусть бежит. Мало времени уже.

– Какая там операция...

– И кто там свистит все время?

– Никак нет, товарищ командующий. Это у вас контузия. Не только рана, но и контузия. Рана, правда, не серьезная. Пустяковая рана.

– Это я знаю. Хороший ты парень, Топилин, душевный. Иди!

Добрый парень, глаза добрые. И тогда глаза были тоже добрые. Но с прищуром. Впрочем, скорее всего, щербатый действительно хорошо относился к нему. Заприметил в давние времена и поверил. Нет, он никому не верил, но симпатию сохранил. Никому не верил, но себе, своим впечатлениям доверял. Проверяя... Постоянно проверяя. То, что сам решил разобраться, – чудо. Или Анастас вспомнил молодость и вмешался. Чудо, что вспомнил, чудо, что решил спасти. Сейчас спасают только себя. Или, говорили, щербатый к бывшим конникам благоволил, это тебе не танкисты. Тухачевского отродье. Но он и конником не был. Пехота. Командовал стрелковой дивизией, корпусом. Так что, почти конник... Чудо... Нет, чудо было танцевать с Лизой. Она любила и умела танцевать. Он же еле ноги переставлял. Батя был батраком, а он – подбатрачивал. Не до танцев было... Но она

так умудрялась его вести, что он начинал довольно ловко выделять всякие па и получать удовольствие от этого замысловатого процесса. И от Лизы. Последний раз они танцевали в декабре, нет... в ноябре. На октябрьских... Или... Нет, была весна. Память стало отшибать. Но точно накануне того дня, когда он получил телеграмму от Ворошилова. Срочно прибыть в Москву. Лиза танцевала чудно. Она выпила рюмку кагора и с непривычки захмелела. Смеялась без особой причины и была счастлива. И он поддался ее настроению, хотя догадывался, что Дыбенко начал давать на него показания. Срочно надо видеть Лизу. Тишины нет. Это ему приснилось. Грохот нависает, вдавливается в уши, в поры кожи. Неужели осталась ещё кожа. Она надела новое голубое платье. Это был ее любимый цвет. Дыбенко при первой очной он не узнал. Усы и бороду у него сбрили, он весь ссохся, превратившись из статного импозантного богатыря в трясущегося забитого мужичонку из прислуги... «Брызги шампанского». Как она любила это танго. И ещё «Цветущий май» Полонского. Жаль умирать. Они фактически рядом. Стреляют за дверью. Или за кустами. Где он?..

– Товарищ командующий. По вашему приказанию мединструктор...

– Спасибо. Иди, Топилин. Постой. Хороший ты парень, Топилин. Спасибо тебе за все. Если останешься в живых, не поминай лихом. Прости, если незаслуженно... Иди!

– Лиза...

– Я все понимаю. Пора.

– Прости меня.

* * *

Уважаемый Григорий Липманович!

С огромным интересом прослушал Die Goldberg-Variationen в Вашем исполнении. Буквально с первых же нот Арии юного Johann Gottlieb Goldberg'a, так рано умершего от туберкулеза – тридцати бедняге не было (но все-таки не от сифилиса, как некоторые другие молодые композиторы), с первого перечеркнутого ординарного mordente, долгих Vorschlag'ов и doppelt-cadence мое внимание было приковано к развитию этой темы и – шире – музыкальной мысли великого лейпцигского кантора. Эта музыка прямо засасывает тебя в то, что делают Ваши пальцы, засасывает – прямо погружаешься. Классика всегда современна. Конечно, большой талант нужен! Я с ранних лет, ещё живя в полуподвале, увлекался этим творением создателя Мессы в H-moll'e (правда, в доме была только домра – прекрасный народный инструмент, хотя и без струн), особо выделяя исполнинскую интерпретацию Марии Вениаминовны Юдиной – любимицы нашего самого эффективного менеджера. Однако Ваше прочтение поражает глубинным пониманием текущего момента – глобальной схватки двух миров, двух мирозданий. Ваша гражданская позиция созвучна мыслям и чув-

ствам тех граждан Великой России, которые, несмотря на все трудности ожесточенной борьбы, продолжают жить на Родине, мужественно противостоя тому, что противопоставит интересам наших сограждан. Как справедливо отметил выдающийся писатель-гуманист братской ГДР Johann Christoph Friedrich von Schiller в Ode An die Freude, написанной для дрезденской масонской ложи (Масонские ложи запрещены в Единой и Неделимой Великой России. – Ред.), «Duldet mutig, Millionen! Duldet für die beßre Welt! Droben überm Sternzelt Wird ein großer Gott belohnen», что означает «Выше огненных созвездий, Братья, есть блаженный мир, Претерпи, кто слаб и сир – Там награда и возмездье!». (Иностранные выражения стран НАТО запрещены в Единой и Неделимой Великой России. – Ред.) Претерпим и мы! Ваше нежелание выступить в Империи Зла – Вашингтонском Обкоме – вызывает самые искренние чувства тысяч патриотов России. Не сомневаюсь, что и Вы со временем вступите в Легион Верных Борцов за гуманизм, демократию и прогресс вместе с товарищами Башметом, Говорухиным и артистами из группы «Любэ». С нетерпением жду Ваших откровений в Диабеллиевских вариациях – этой вершине духовных исканий венского затворника. Я уже дал указание министру обороны обеспечить безопасный коридор и забронировать мне место в 6-м ряду Филармонии нашего с Вами родного города – я имею в виду Петербург.

Крепко жму Вашу правую руку. Надеюсь встретиться с

Вами на музыкальном татами. (Могу Вас порадовать, сообщив, что уже играю «Московские окна» уже двумя руками вместе!!)

Президент Единой и Неделимой Великой Российской Федерации

/Подпись неразборчива. – Ред./

С подлинным верно.

Зам. Главы Администрации /Подпись неразборчива. – Ред./

(Пропущенная буква «Т» в слове «Администрация» в собр. соч. и афоризмов Президента будет восстановлена. Виновный в этой идеологической диверсии и покушении на авторитет, его родственники, а также сотрудники аппарата издающего органа и их ближайшие родственники строго наказаны. По стране идут аресты сообщников).

*** * ***

Баю-баю, Машенька,
Тихое сердечко,
Проживешь ты страшенько
И соришь, как свечка.

* * *

Снег выпал только в январе. Она сняла дачу, вернее, комнатку с маленькой верандой в Комарове. На веранде были замерзшие банки с солеными или маринованными помидорами. Презент, так сказать, от хозяйки этого поместья в три сотни. В комнатке была печурка и лютый мороз. Узенькая железная кровать с неопределенного цвета и свежести бельем не манила отдать продрогшие тела в ее объятия. Правда, дрова были сложены в углу веранды, что внушало надежду. Лыжи они привезли с собой. Первые сутки шла борьба с печкой, дымом в комнатке и холодом. Спали не раздеваясь и не думая о любви. Вторые сутки сначала пытались встать на лыжи, а затем боролись с печкой, холодом, дымом и подскочившей температурой – не в комнате, а у нее. На третьи сутки помидоры оттаяли, но они их не попробовали, так как он увез ее, вдрызг разболевшуюся, в город, хотя они заплатили за неделю вперед. Это было самое счастливое время их совместной жизни.

* * *

Завтра на всей территории Ленинбургской области облачно, временами дождь, ветер порывистый, временами до

сильного. Демонстраций протеста, одиночных несанкционированных пикетов, прогулок по городу или выхода горожан за пределы своих квартир, комнат, туалетов и прочих жилых /нежилых/ помещений не ожидается. А сейчас – легкая танцевальная музыка. Для вас поет Иосиф...

* * *

В том году грибов в России высыпало немерено. Особенно в Каргопольском уезде. Плохая это примета. К войне. Сбылась.

* * *

«На 5-м бастионе мы нашли Павла Степановича Нахимова, который распоряжался на батареях, как на корабле: здесь, как и там, он был в сюртуке с эполетами, сильно отличавшими его от других в виду неприятельских стрелков. Разговаривая с Павлом Степановичем, Корнилов взошел на банкет у исходящего угла бастиона. Оттуда они долго следили за повреждениями, наносимыми врагам нашей артиллерией. Ядра свистели около, обдавая нас землей и кровью убитых; бомбы лопались вокруг, поражая прислугу орудий».

А. П. Жандр. Флаг-офицер адмирала П. С. Нахимова.

#

«...Приказываю: 1. Предупредить весь командный, начальствующий, красноармейский и краснофлотский состав, что Севастополь должен быть удержан любой ценой. Переправы на Кавказский берег не будет...».

Директива № 00201/оп. Командующего Северо-Кавказским фронтом маршала Семена Михайловича Буденного от 28-го мая 1942 г.

«Кузнецову, Буденному, Исакову.

/.../Противник ворвался с Северной стороны на Корабельную сторону. Боевые действия приняли характер уличных боев. Оставшиеся войска сильно устали, дрогнули, хотя большинство продолжает героически драться <...>. Исходя из данной конкретной обстановки, прошу Вас разрешить мне в ночь с 30 июня на 1 июля вывезти самолетами 200–250 человек ответственных работников, командиров на Кавказ, а также, если удастся, самому покинуть Севастополь, оставив здесь своего заместителя генерал-майора Петрова.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Филипп Октябрьский».

#

«Мой Фюрер! /.../ Предлагаю вывезти из котла отдельных специалистов – солдат и офицеров, которые могут быть использованы в дальнейших боевых действиях. Приказ об этом должен быть отдан возможно скорее, так как

вскоре посадка самолетов станет невозможной. Офицеров прошу указать по имени. Обо мне, конечно, речи быть не может».

Генерал танковых войск, командующий 6-й армией Фридрих Паулюс. 24 января 1943 года.

#

«Корнилов был смертельно ранен ядром в двенадцатом часу дня на Малаховом кургане. Огонь уж ослабевал, бомбардировка подходила к концу, когда Нахимов узнал роковую весть... Вечером, узнав о гибели Корнилова, поехал я поклониться его праху и, войдя в зал, увидел Нахимова, который плакал и целовал мертвого товарища».

Капитан А. Б. Асланбегов. Капитан-лейтенант, Командир 42-го флотского экипажа и начальник 1-й оборонительной линии на Северной стороне Севастополя.

#

«Учитывая, что намечаемая операция под № 170457 уже не может оказать влияния на судьбу СОР, прошу:

/.../2. Разрешить Военному совету ЧФ вылететь в Новороссийск. На месте оставить старшим генерал-майора т. Петрова.

/.../4. Прекратить подвоз СОР пополнения и продовольствия.

*Маршал Семен Михайлович Буденный,
Командующий Северо-Кавказским фронтом.
Доклад в Ставку в связи с просьбой адмирала
Ф. Октябрьского об эвакуации.*

#

«Боевой приказ. 30/VI.

42 г. 21.30...Армия, продолжая выполнять свою задачу, переходит к обороне на рубеже: мыс Фиолент – хут. Пятницкого – истоки бухты Стрелецкой. Оборона указанного района возлагается на группу генерал-майора П. Г. Новикова.

*Генерал-майор И. Е. Петров,
командующий СОР, командующий Приморской армией».*

#

«Мой Фюрер! В связи с радиограммой Паулюса от 24. 01. /.../: с чисто деловой точки зрения, естественно, было бы желательно спасти возможно большее число ценных специалистов, конечно, независимо от их звания. И с человеческой точки зрения понятно, что хотелось бы, и надо было стараться спасти каждого. /.../ Но эту эвакуацию необходимо рассматривать и с точки зрения солдатской этики. Нормы солдатской этики требуют, чтобы в первую очередь были бы эвакуированы раненые. /.../ Эвакуация специалистов могла бы быть произведена только за счет эвакуации

раненых. Кроме того, неизбежно большинство эвакуируемых специалистов составили бы офицеры /.../. Но в той обстановке, в которой находится 6-я армия, по понятиям немецкой солдатской этики, когда речь идет о спасении жизни, офицеры должны уступить первую очередь солдатам, за которых они несут ответственность».

*Генерал-фельдмаршал, командующий группой армий «Дон»
Эрих фон Манштейн.*

#

«Сообщаю о постигшей нас беде. 7 марта 1855 г. на Камчатском редуте убит ядром адмирал Истомина. Незадолго до того водил он экипажи на вылазку, призывая: «Судари мои, защитники, за мной в штыковую!»

Э. И. Тотлебен. Инженер-полковник, затем Генерал-адъютант. Начальник оборонительных сооружений Севастополя и минных полей.

#

«Директива Ставки ВГК

№ 170470

Командующему войсками Северо-Кавказского фронта

Об утверждении предложений по свертыванию обороны в районе Севастополя 30 июня 1942 г. 16 ч. 45 мин.

Ставка Верховного Главнокомандования утверждает ваши предложения по Севастополю и приказывает приступить к их немедленному выполнению. По поручению Ставки Верховного Главнокомандования Начальник Генерального штаба А. Василевский».

«Эвакуация ответственных работников и ваш выезд на Кавказ Ставкой разрешены.

Нарком ВМФ СССР адмирал Н. Г. Кузнецов».

#

«Генералу Паулюсу. /.../ В отношении эвакуации специалистов: фюрер в просьбе отказал».

Ставка Гитлера. Секретариат.

#

28 июня 1855 г. на «батарею Корнилова» под ураганным огнем неприятеля пулей в левый висок был смертельно ранен Павел Степанович Нахимов. Последние слова его были обращены к неприятелю: «Однако, как ловко стреляют».

Севастопольский вестник.

#

«Командующий флотом адмирал Ф. Октябрьский прибыл к самолету, переодевшись в какие-то гражданские обноски, в потертом пиджаке и

неказистой кепке».

Лейтенант В. Воронов, свидетель эвакуации командующего.

«Я не описывал, считал это ненужным, как меня самого вывезли из этого кошмара, как... надели на меня какой-то плащ, вывели наружу, посадили и увезли».

Вице-адмирал Ф. Октябрьский, герой Советского Союза, письмо главному редактору газеты «Красная звезда», 1966 год.

#

«Я привёл своих солдат в Сталинград и приказал им сражаться до последнего патрона. А теперь покажу им, как это делается».

Генерал танковых войск, командующий 16-й танковой дивизией

Ганс-Валентин Хюбе.

(Ответ на приказ Ставки покинуть дивизию и возглавить сформировавшийся 14-й ударный танковый корпус; был насильно вывезен телохранителями Гитлера – офицерами СС из Сталинградского котла. Позже, в Сицилии, отступая в 1943 году под ударами превосходящих сил армии Паттона, отбыл с острова через Мессинский пролив на последней лодке.)

#

«Общий штурм 26 августа, проведенный соединенными силами союзников, после 4-дневного бомбардирования, заключился взятием Малахова

кургана. Хрулев /Степан Александрович, генерал-лейтенант, командующий Севским полком и 1-м и 2-м бастионами Севастополя/ употребил все усилия выбить французов с Корниловского бастиона. Он шел перед Севским полком с образом в руке, который снял с груди. «Ребята, вперед!» – были его слова, но в эту минуту пуля ударила его в руку. Ординарец заметил и хотел ему сказать. «Молчать!» – перебил его наш герой и продолжал идти навстречу врагам, но скоро силы покинули его, и он уже не видел торжества неприятеля. Хрулев лишился большого пальца на левой руке. В правую он был ранен на Дунае под Журжею. Фактически он последним покинул оставленный врагу Малахов курган».

АД. Ивановский, историк.

#

Боевой приказ

1.07.42 г.

Генерал-майору Новикову П. Г.:

«... Драться до последнего, и кто останется жив, должен прорываться в горы к партизанам».

Генерал-майор И. Г. Петров.

(Отбыл в сторону Новороссийска со своим штабом на подводной лодке Щ-209 29. 06.1942).

#

«Вы должны сражаться за Германию так же храбро и мужественно, как этот генерал за свою

Россию».

Генерал Вальтер Модель

(по другой версии – *генерал Густав Шмидт*) перед строем немецких солдат во время похорон с возданием воинских почестей генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, покончившего жизнь самоубийством, чтобы избежать пленения, ранее отказавшись покинуть вверенные ему войска, отправив с присланным за ним самолетом только знамена 33-й армии и раненых. (Генерал-фельдмаршал Модель последовал примеру генерала Ефремова в апреле 1945 года, застрелившись в Рурской области, дабы не попасть в плен; генерал Шмидт покончил с собой под Белгородом в аналогичной ситуации).

#

«Много ли вас на бастионе, братцы?» – «На три дня хватит, ваше сиятельство».

*Генерал от артиллерии, генерал-адъютант, главнокомандующий войсками в Крыму М. Д. Горчаков.
Август 1855 г.*

15.09.1854 г. генерал-майор Эдуард Иванович Тотлебен написал жене письмо, в котором он прощался с семьей, считая себя и гарнизон обреченным на смерть.

Автор.

#

Вр.и.о. Командующего СОР генерал-майор
П. Г. Новиков на катере № 112 с 70

начальниками, в основном штабными, интендантами и политработниками, около двух часов ночи на 2 июля вышел в море. Но с рассветом был обнаружен итальянскими торпедными катерами и после небольшого боя взят на буксир – в плен.

Генерал-фельдмаршал Манштейн, допрашивавший П. Г. Новикова, был удивлен, что генерал одет в форму рядового и приказал немедленно переодеть его в обмундирование, соответствующее чину.

Автор.

#

«Противник предпринимал неоднократные попытки прорваться в ночное время на восток в надежде соединиться с партизанами в горах Яйлы. Плотной массой, ведя отдельных солдат под руки, чтобы никто не мог отстать, бросались они /советские солдаты/ на наши линии. Нередко впереди всех находились женщины и девушки-комсомолки, которые, тоже с оружием в руках, воодушевляли бойцов. Само собой разумеется, что потери при таких попытках прорваться были чрезвычайно высоки».

Генерал-фельдмаршал Э. Манштейн, «Утерянные победы».

#

«Когда к самолету подходили командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский и член военного совета флота дивизионный комиссар

Кулаков, их узнали. Скопившиеся на аэродроме воины зашумели, началась беспорядочная стрельба в воздух... Но их поспешил успокоить военком авиационной группы Михайлов, объяснив, что командование улетает, чтобы организовать эвакуацию из Севастополя».

Г. И. Ванев, историк.

Военком Борис Михайлов, увидев происходящее, покинул самолет, решив остаться, и возглавил оборону аэродрома. Погиб в одной из контратак, стремясь с оставшимися защитниками Севастополя пробиться в горы.

Автор.

#

«8 июня 1855 г., вечером, спускаясь с Малахова кургана к батарее Жерве, генерал-майор Тотлебен был ранен британской штуцерной пулей в правую ногу ниже колена. Его тотчас на носилках перенесли на квартиру на Екатерининской улице напротив церкви Михаила Архангела. Здесь рана была осмотрена доктором Гюбенетом. На следующий день неприятельская бомба упала во дворе дома Тотлебена, оставаться в нем стало не безопасно, но генерал не захотел переезжать на Северную сторону. /.../ Его перевезли в казематы Николаевской батареи, где здоровье начальника инженерной службы Севастопольского гарнизона стало заметно ухудшаться. Тогда по настоянию врачей генерала Тотлебена отправили на хутор помещика Сарандинаки в долине Бельбека в 11 верстах от

Севастополя. Там он находился до конца осады». Автор. По материалам «Севастопольского вестника».

#

«Товарищи, мы сейчас окружены. Жить или умереть. Но нам во что бы то ни стало надо прорваться к 35-й батарее и занять там оборону. Так нам приказано».

Полковник Рубцов, командир полка пограничников по получении приказа прорваться к батарее № 35, чтобы прикрыть эвакуацию генерал-майора Новикова П. Г.

«Понеся большие потери, остаткам полка пришлось отступить».

Раненые в этой атаке, полковник Г. А. Рубцов и батальонный комиссар А. П. Смирнов, чтобы не попасть в плен, застрелились.

Автор.

#

«...Если пришел твой последний час, умей встретить его, как я. Поэтому всегда командующий разделяет судьбу армии».

Генерал армии А. П. Белобородов, дважды герой Советского Союза, командующий 43-й армией.

#

«Флоту нужно три года, чтобы построить новый корабль. Чтобы создать новую традицию, понадобится триста лет. Эвакуация будет

продолжаться...».

*Командующий Средиземноморским флотом Великобритании
адмирал Кэннингхэм.*

(Ответ на предложение Адмиралтейства прекратить эвакуацию войск с Крита, с целью сохранения флота, но самому покинуть остров, оставляемый немецким войскам. Май 1941 года, Кипр).

* * *

Опять за электричество вовремя не заплатили. Кварту-полномоченный, конечно, уже подсуетился, настучал. У него жена поперек себя шире. Как на горшке помещается, ума не приложу. Да и спину ей в бане тереть – забодаешься. А он – квартуполномоченный – мужичонка скрюченный, пугливый, геморроем страдает, наверное. Управдом же придет, будет нудить, что свет отключат. Никто не отключит. Слава богу, не в Америке живем, но полдня пропало. Ни постирушку устроить, пока соседи на службе, ни чай попить с бубликом, слушая концерт по заявкам, который в час дня после «Вестей с полей». Там часто передают Хор Верстовского из «Аскольдовой могилы». Очень красивый хор. И кто этот Аскольд, поди разбери?.. Или арию Мельника. Это – «Русалка». А он всё зурнит и зурнит, без остановки. Мельник спивает: «Ведь вы своим умом богаты, а мы так отжили свой век», а он всё свое: «Народное добро... псу под хвост... социализм

– это не коммунизм», – козел. И надо головой кивать, и руками всплескивать от возмущения, и плечико поднимать до мочки уха с негодованием и непониманием «как же так можно!», и ахать, и смех изображать, и глаза понимающие строить, и в неподдельном порыве вперед подаваться, как бы сливаясь с ним в экстазе от смелости его мысли и прозрения. Он это любит: с интересом в вырез халата заглядывает, будто титьки никогда не видел, похабник. А в это время думаешь: «Вот сейчас Полонез Огинского пойдет». Огинский всегда вслед за «Русалкой» по заявкам идет. Очень красивая мелодия. И почему у них всегда одно и то же и в одинаковом порядке? Заявки так почтальон разносит, или уже на радио складывают? Вот, в конце сейчас зафигачат Первую часть Концерта Чайковского в b-moll'e в исполнении Льва Оборина. Почему никогда вторую часть из Второго концерта, или Allegro maestoso Третьего в исполнении Эмиля Григорьевича Гилельса? И нет, чтобы, скажем, послушать что-нибудь из «Пеллеаса и Мелизанды» или, к примеру, «Absalon fili mi» Жоскена де Пре, хотя там уж больно низкая тесситура, басы аж в си-бемоль контроктавы заползают, никакому Гмыре не справиться. Не любят в народе хорошую музыку, что ли?! Белье замочено ещё вчера, а тут такая напасть. Пока бутылка не поставишь, не уйдет ведь. Как в него влезает! Уж и у Айзенбергов-очкариков был (там Мускат давали, это ему – как слону дробина), и у Лукиных был в полуподвале (у этих уже серьезно), и к Софье Андреевне завалился, пока Левушка в

присутствие отлучался (ну, здесь самогон – из Ясной Поляны, вестимо)... Как в него влезает? Потом ещё на пятый этаж полезет, не поленился, там двое неплательщиков, оттуда его уже Леокадия Ардалионовна, супружница, значит, выволакивать будет. Бутыль поставить – не проблема, но это дороже выйдет, нежели за свет платить. Тем более что свет не отключат. Как его отключить-то? Или всем сразу, во всем доме – это запросто. Но тогда хипеш начнется. А во втором подъезде в отдельной квартире живет Иван Иванович, который в Большом Доме сантехником трудится. С ним лучше не связываться. А персонально – как? Ну, допустим, выкрутят пробки, но их тут же и вставим. А если не пробки, так «жучки». Значит, надо часового около пробок сажать. С винтовкой. Хорошо, пусть сидит. А кто его кормить-то будет? Никто! И не по жадности или бедности – самим жрать нечего, тем более с этим трехпроцентным займом. Не-е-е: из вредности. Сидишь, ну и сиди голодный со своей винтовкой. Значит, надо, чтобы кто-то ему еду носил, так как отлучаться с поста он не смеет. А этому носильщику еды, да и самому охраннику надо зарплату платить за службу. А это подороже будет платы за электричество. И ещё: ну покушает он, отрыгнет, а потом и по нужде надо отлучиться. Ему замену слать! Пока он добежит до туалета на Моховой, пока свободную кабинку найдет, закроется на крючок, пилотку зажмет у живота, чтобы не сперли – а это дело простое: мальчуган ножичком защелку приподнял или просто дверь хлипкую дернул,

пилоточку с головы снял, сказал спасибо, и нет его. Вместе с пилоточкой. Пока дело закончил, порты натянул, пацаненка уже и след простыл. Правда, они – пострелята – больше за пыжиковыми или ондатровыми шапками охотятся, большой навар имеют. В моде эти шапки ныне. А без пилоточки как пойдешь? Ни честь отдать, ни вида солидного нет. С винтовкой и без головного убора. Обхохочешься. А в квартире ему хода в сортир не будет. Опять-таки из-за вредности. Замочек повесим, а ключик не дадим. И всех делов-то. У каждого из нас свой ключик. Вот с этим ключиком и будем ходить по нужде. Ведь ходим же со стульчаком под мышкой и со своей «Правдой» или «Сменой». Ну, а сейчас пошел уже «Дневник соцсоревнования», а потом начнут про Америку, которая всем во всем гадит и гадит, гадит и гадит. Другого дела словно за океаном нет. Хотя в парадных зассано, не возразишь... А за ляктричество надо платить, граждане!

* * *

«Гармония, истина, порядок, красота, совершенство дают мне радость, ибо они переносят меня в активное состояние их Творца и Обладателя... Дайте нам познать совершенство – и мы достигнем его. Дайте нам приобщиться к высокому идеальному Единству – и мы проникнемся друг к другу братской

любовью».

Шиллер.

* * *

Я часто думаю: родился я лет на пятьдесят раньше, что бы творил? Вешал на фонарных столбах всю эту коммунистическую и особенно чекистскую сволочь? – Не раздумывая! Но моя мама была коммунисткой. Неважно, что в эту долбанную партию она вступила в блокадном Ленинграде, узнав окольными путями, что ее родителей – моих бабушку и дедушку – убили: то ли расстреляли, то ли, скорее всего, сожгли заживо немцы... Всё понимаю, – но коммунистка. Поднялась бы рука? Или мой тесть. Человек не просто достойнейший. Святой. Как мама. Ветеран; более того, инвалид войны. Весь взвод выстроили перед обреченным прорывом из окружения и спросили – скомандовали: «Коммунисты, два шага вперед! Кто считает себя коммунистом, один шаг вперед!» Все поголовно шагнули. Попробуй не шагни. Да и не только из-за страха. Тогда в эту партию иногда вступали и порядочные люди. Верившие. Наивные. Тесть – один из немногих, кто выжил, вырвался... И его на фонарь – пусть болгается?

Все равно. Вешал. Моих бы попытался спасти. Пусть ценой жизни. Но всех других... Ибо эта сволочь сломала хребет цивилизации моей страны. И доламывает ныне... «Сво-

их» же этих – мало ли в каждой семье? Несметно. Приглядишься – и жаль. Однако жалеть нельзя. Нас они не жалели. Ненависть, люта я ненависть не усмир яется. Ни у них, ни у нас. Хотя нас уже почти не осталось. И перебили, и переродились. Они же плодятся и размножаются. Слушают телевизор и бормочут о примирении, о забвении, о прощении друга друга. Прощения, забвения, примирения быть не может. Как не может быть примирения и прощения между нацистами и потомками их жертв: Холокоста, блокадников, просто – людей. Хотя эти звери своих не убивали с таким самозабвенным восторгом, как наши... Не может быть забвения, ибо забвение – значит, ещё одна гибель уже погибших, замученных, обесчещенных, а значит, и нас. Может же быть лишь Третья Мировая – между ними и нами. На одной восьмой суши. Или другом клочке земли, который останется от одной восьмой.

... Наивно думал, что хуже НИХ быть не может. Может!

* * *

«Кустанай – наш! Сбылись мечты народные. Скреп я не проржавели за години невзгод и лихолетья. Герой взятия Джизака, усмиритель бухарцев, преобразователь Киргизской степи, сподвижник покорителя Хивинского ханства, Коканда и Самарканда инженер-генерала Константина Петровича фон Кауфмана – наш выдающийся соотечественник

генерал Николай Андреевич Крыжановский, не жалея живота своего, прирастил эту сакральную землю, политую потом и кровью русских земледельцев, скотоводов, коневодов. Первую годовщину великой...», – да выключи ты эту мутовень. Сколько можно одно и то же слушать! То Кустанай, то Гельсингфорс, то Трансильвания с Бессарабией, то Могилевщина, надоело – одни и те же песни. Хоть добрались бы до Америки. Аляска – не за горами, а то всё ползаем по периметру. Наливай. Это ещё прошлогодний. Хасан из Рязани привез. Хоть шариат и запрещает им гнать, но вся Рязанщина гонит. Китайцы на это сквозь пальцы смотрят. А ты чо там на свой айфон записываешь? На кого стучать хочешь, дебил? Я на тебя ещё раньше настучал! Наливай! – «...Как сказал Великий Вождь, "вопрос о Кустанае не стоит. Кустанай был, есть и будет наш!" Бурные аплодисменты, переходящие в овации, все встают. Звучит гимн Московской волости...» – Выключи, не то вставать придется.

* * *

Господь милостив. Поймет и простит. Забота Его порой запаздывает. Когда уже поздно, Он вспоминает о нас. Но это, может, Его провидение. Чем своевременнее – не раньше, но и не слишком поздно – Он заберет нас к себе, тем лучше. Для нас же. Меньше мучений испытаем мы в этой жизни. Меньше грехов совершим. Девственнее душа наша и совесть

будут, когда предстанем перед Ним. Марк отрекся от жены своей, от Марии, но келейно, не публично, приватно, с глазу на глаз в темном кабинете, выйти же прилюдно, громогласно не успел. Сердце лопнуло, так говорят. Но это не сердце. Это – Он позаботился, смилостивился, призвал к Себе, не допустил страшного, ибо Мария не просто любила мужа своего, не только выходила его – раненого, контуженного, обмороженного в ледяном месиве Керченского пролива, когда драпали из Крыма. Она жила им. Она дышала им. Она хранила его. Она его любила. И, собственно, что было: угрозы, пытки, издевательства, изнасилование – что? Ни-че-го! Розовощекий толстячок лишь спросил с нажимом на имени-отчестве:

«Ну что, *Марк Самуилович*, будем сотрудничать?» И многовековой ужас предков сдавил сердце, и ничего иного он не мог сделать. Лишь кивнул.

* * *

Хрюня, Хрюнечка, ну идем, ну пошли. Ну, что ты прячешься. Ну, маленький мой, пойдем. Господи, как они чувствуют. Всегда бежал, пяточком вверх, хвостик радостный. А сегодня забился под лавку, полной миской не выманить. Выглядывает, глазки испуганные, как у дитя. Да он и есть дитя. Маленький, розовенький, жить хочет. Хрюнечка, иди ко мне, не бойся.

Дело Балаховича помнишь? Смутное было дело. То ли она его соблазнила, то ли он ее изнасиловал. Собственно, изнасилования как такового и не состоялось. Экспертиза никаких следов не обнаружила. Алкоголя в крови – минимум, то есть ее бессознательного состояния быть не могло. Паренек – из слабосильных, плечики – на ширине бедер, ручки – прутики. Так что совладать с такой крепкой девахой он бы не смог, это – к доктору не ходи. Но и она вряд ли на него позарилась: захотеть его трудновато, уж очень он непритягательный в сексуальном плане, да и во всем остальном. Ни кожи, ни рожи. Прыщики... Но событие сексуального контакта имело место быть. Это она моментально зафиксировала. Он отпирается. Она настаивает, но как-то вяло, и уж слишком демонстративно. Всё же у нас об этом не принято говорить. В большинстве случаев изнасилования скрываются не столько насильниками, сколько жертвами. Стыдятся. Увы, такова культура, безграмотность, неверие в наше российское правосудие (справедливое неверие!), традиции и бог весь что. Молчат. Она же вещает. Но как-то фальшиво. Зачем ей это? Оправдать беременность? – Да, если бы она была беременна. Выйти за него замуж? – Но это ни при какой погоде ей было не нужно, что она не скрывала. Его родители предлагали решить этот вопрос полюбовно, хотя в вину своего сына кате-

горически не верили. Не получилось, оба были против. Посадить его? – Зачем? Денег не требовали. Оправдать потерю девственности? – Кого это сегодня волнует! Тем более что сия девственность потеряна была ещё во времена Очакова и покоренья Крыма. Нет, последнего покорения. Что удивляло, так это то, что мать потерпевшей ни разу не явилась на все юридические и медицинские процедуры. Отец бывал. Мать мы не видели. Даже на суде. Уж на что Борис Аркадьевич, адвокат, съевший всех собак в своем деле, асс старой школы, патриарх, никогда с этим не сталкивался. Лишь руки недоуменно разводил: это ж не мать... Долго мы голову ломали. Сидоренко, помнишь такого? Сидоренко всё настаивал: надо сажать. Даже если невиновен, надо сажать. Чтобы другим неповадно было, и процент раскрываемости выше. Тем более что отец этого паренька в Администрации сам знаешь кого работал. Проявить, значит, принципиальность и – невзирая на лица. Тогда это было модно. Мы были против. На тормозах дело было не спустить. Шума получилось много. Хотя даже прокуратура предлагала дело закрыть за отсутствием события преступления или состава преступления, или по каким другим причинам, не упомяну. Все были против, кроме Сидоренко. Так чем дело закончилось? – Вот именно! Дали по максимуму. А на пересылке его пришили. Всё оказалось гораздо сложнее. И примитивнее. Ведь у нас как: чем сложнее проблема, тем примитивнее способ ее решения. Гордиев узел уже развязываем не топором, а заточ-

кой. Или малой войной (но с большой кровью и непредвидимыми последствиями). Так и здесь.

* * *

– Ваш батюшка хорошо вас выучил. Такого мастерства я давненько не видывал. Однако вы изрядно завшивели.

– Виноват, ваше высокопревосходительство.

– И левой также можете?

– С обеих, ваше высокопревосходительство.

– А ежели спрошу исполнить.

– В любой момент, ваше высокопревосходительство.

– На счет «три».

– Фуражечку жаль, ваше...ство.

– Ничего, у меня ещё одна есть. С германского. Вот ее я берегу. В ней и погибну. Раз. Два...Три!

... Кутепов как в воду смотрел. В этой – старой фуражке «с германского» его и взяли.

– Да, вы, батенька, виртуоз. Как звать вас, поручик?

– Николай... Аристархович.

– Кто полковой командир?

– Генерал-майор Скоблин, командир Корниловской дивизии.

Кутепов усмехнулся. «Была дивизия, да сплыла. Под Большим Токмаком и Каховкой полегла», – возможно, подумал он. Или просто усмехнулся, глядя на безусого виртуоза.

– Я с ним переговорю. Нельзя с такими талантами оставаться здесь. Он позаботится об отправке вас на материк. Вернее, его супруга. Надежда Васильевна большой мастер дела устраивать.

Помощник Главнокомандующего опять чуть усмехнулся в усы.

– Этого никак не возможно быть, ваше высокопревосходительство! Это есть дезертирство. Я же в 1-м Ударном полку с Кубанского похода. Меня сам Лавр Георгиевич заприметил за стрельбу.

– Вот именно. Дезертирство оставаться здесь с таким мастерством. Уникальным. С этим даром и умением вы ещё должны послужить Родине. И послужите в нужный момент.

И опять Александр Павлович Кутепов как в воду смотрел.

* * *

3 сентября 1929 г.

Дорогая Белинда, мой возлюбленный дружок, шелковые волосы, добрый день, доброе утро! Пишу тебе, и сердце мое бьется в волнении и радости. Во-первых, я опять с тобой, моя единственная, пусть и на расстоянии географическом, но в близи душевной, во-вторых... Не могу не рассказать в подробностях, ибо впечатления переполняют моё сердце. Сегодняшнее утро не менее прекрасно, чем вчерашний день. Солнце сияло, легкий ветерок нежно освежал счастливые

лица всех присутствующих, птицы щебетали, словно радуясь соединению двух любящих сердец, двух родственных душ, двух лучших детей нашего Отечества. Герда была обворожительна. Жених не так хорош, почти на голову ниже нашей Герды, но лицо приятное, доброе, вернее, добродушное. Он умен, молчалив, спокоен, абсолютно положителен (как его могли осудить в начале 20-х, ума не приложу!!!). Тетя Амалия недовольна, что он не на высокой должности – всего лишь работник службы страхования в штабе Высшего командования Sturmabteilung. Однако ее уверяют знающие люди, что за этими ребятами будущее, особенно после того как Адольф стал Верховным вождем этих отрядов. Ещё сказала (но по секрету, по секрету!!!), что дядя Вальтер не был в восторге от этого брака, мягко выражаясь. Он немного странный, наш дядя Вальтер, но кристально чистый и честный человек. Даже в своих заблуждениях. Не случайно его называют «совестью партии». Его авторитет как Председателя Высшего партийного суда непоколебим. Дядя Вальтер – воплощение истины и справедливости; когда он принимает решение, уходят в сторону все личные отношения, политические интересы и расчеты, даже партийная солидарность. Его независимость ценят все, включая оппонентов в партии. Однако в этом случае он, думаю, ошибается и сам признает свою ошибку в ближайшем будущем. Если бы ты видела, как они любят друг друга. Герда прямо летит к Мартину, увидев его призывный взгляд, манящее движение руки или

только одной интуицией постигая его желание... Настоящая германская жена! И будет такой же матерью, не сомневаюсь. А у Мартина блистательные перспективы. Ты же знаешь, кто был свидетелем на свадьбе! Сердце радуется, глядя на них: Адольф и Руди – два неразлучных и верных товарища по борьбе и нежных друга. Конечно, они проявили свои дружеские чувства к дяде Вальтеру, своему старому – с 1922 года – боевому товарищу, но это – и особое внимание и поддержка Мартина, которого Адольф весьма ценит, а Руди считает своей правой рукой. Сердце радуется, глядя на них. Причем Руди, в отличие от Адольфа, как обычно, в поведении сух, подчеркнуто скромнен, незаметен, прост – тень Адольфа; он – в своем обычном коричневом форменном френче с португеей без позолоченных знаков отличия, в сапогах, подлинный пример солдатской добродетели, один из немногих оставшихся старых партийных борцов, не погрязающий в роскоши и самодовольстве. Герой-аскет. Но всё-таки он какой-то странный. Адольф был весел, общителен, иногда прихлопывал в ладоши и пританцовывал во время церемонии. Позже я с ним танцевала лендлер. Как он мил! Но в то же время – сгусток воли, воплощение воли, как правильно говорит Руди – его герольд и жрец. Будущее Германии, ее возрождение и величие – Адольф. Именно он освободит нас от Версаля. Есть Адольф – есть Германия! Мы все это знаем умом и сердцем!! От него идет магнетизм, ни с чем не сравнимая магическая сила, ему невозможно противиться, нет

ни сил, ни желания, и он понимает, чувствует это. Сам же Руди был мрачен, словно находился не на свадьбе, а на партийном съезде. Не хочу сплетничать, но... я за него замуж бы не пошла. Ильза писала мне через почти два года после их с Руди свадьбы по поводу супружеских отношений, что «чувствует себя ученицей монастырской школы». Впрочем, это все понятно, ибо Руди, как никто другой, всего себя отдает делу партии и Адольфу. Так, как Руди, никто Адольфа не чувствует, не понимает, не доносит до нас, до всей Германии, до всего мира. И вообще, все эти семейные финтифлюндии – ерунда. Герда уверяет, что подарит Отечеству 10 детей. Посмотрим!

Церемония была скромна и трогательна. Герда, как ты помнишь, воспитывалась в строгих традициях. Дядя Вальтер и тетя Эльза, в особенности, привили ей свои пуританские принципы жизни, ведь оба они, с одной стороны, ревностные протестанты-лютеране, с другой – чистейшие арийцы, отличающиеся суровым аскетизмом, спартанской моралью, подчеркнутой скромностью, то есть нравственными основами идеала национал-социализма. Вместе с этим было весело, непринужденно. Все, по нашему старому мюнхенскому обычаю, принесли с собой пиво – кто одну бутылку, кто несколько, все это вылили в кружки и, не разбираясь, кто сколько и чего принес, выпили за молодых. Звон сталкивающихся кружек был подобен колокольному перезвону. Потом был сюрприз. Хор ветеранов движения и маленький оркестр

учащихся гимназии исполнили отрывок из симфонии Бетховена, которую любит дядя Вальтер. И ты представляешь, когда зазвучали слова «Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt!» – Адольф прослезился. Прослезился и смущенно отвернулся. Истинно германский характер – сила воли и старая добрая сентиментальность, мужественность и нежность. Слова эти проникли в сердце каждого из нас – «обнимитесь, миллионы» сынов Германии. Как они перекликаются со словами нашего славного мальчика-героя – Хорста: «*Es schau'n aufs Hakenkreuz, voll Hoffnung schon Millionen, /Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an.* Миллионы глядят на нас с надеждой, мы прорвем тьму и дадим хлеб и волю!» Я тебе о нем писала, помнишь? Он сейчас уже – командир отряда. А всего-то – двадцать с лишним. На таких героях построится новый мир. Слова великого Шиллера проникли и в сердце Адольфа – сына германского духа и вождя германского народа. Как он мил, сердечен, велик и... одинок.

Ладно, наболтала тебе с воз и маленькую тележку. Как ты? Я ежечасно вспоминаю наши дни и ночи в твоём домике близ Мосбург-на Изаре, на берегу неспешной Амперы, поездки в Байрейт, Инсбрук, совместное чтение – прижавшись друг к другу – «Грозового перевала», вижу в снах резвящиеся в водах Амперы форели, пылающие дрова в вашем огромном камине, дядю Ганса с неизменными вилами в руках, вдыхаю аромат твоих шелковых волос, пахнущих свежескошенной

травой, твоих пальцев, с запахом парного молока, слышу мычание сытых коров и наигрыш тирольских пастухов... Много бы отдала, чтобы оказаться в этом раю – колыбели моей жизни. Увы, сейчас не до этого. Начинается очень важный период и в нашей жизни, и в борьбе нашей партии, и, надеюсь, в судьбе Отчизны. Может, ты выберешься в Берлин к Рождеству? Вот было бы счастье!!! Коров будет доить Марта. Она уже большая девочка. Я тебя познакомлю и с Мартином, и с Генрихом, и со всеми нашими. И пойдем в оперу на Вагнера.

Обнимаю тебя, сердце мое,
Твоя Гретхен.

* * *

Мало того, что Саша Соколов в Канаде родился, а я – в Ленинграде, так был ещё один Саша. Этот Саша жил и гулял в Царском селе. Если не верите, можете проверить (См.: «Яблонские в Царском селе»: набери и кликни – всех делов-то!). Только этот Саша успел родиться значительно раньше, чем я, но позже, чем его папа, то есть мой дед – тоже Саша. Так вот. Этот Саша – не тот, который я, и не тот, который тоже Саша, но в Канаде, и даже не тот, который его папа – опять-таки Саша – сколько их, заплутаешь! – а тот, который мой дядя и к Канаде никакого отношения не имел, так этот Саша, цитирую, а то не поверите: *«жил в комнате /Лицея/, ко-*

тору занимал когда-то лицеист А. С. Пушкин. Квартира в здании Лицея соединялась дверью с переходом в Екатерининский дворец, и иногда отец /мой дед/ имевший ключи от этой двери и право посещения дворца, водил детей по пустынным дворцовым анфиладам. Тогда Саша впервые увидел и знаменитую Янтарную комнату».

А вы говорите!

Это тебе здесь не Канада.

* * *

– Так у вас здесь санаторий. Ежкин корень...

– Не болтай.

– А что?! Я столько шампанского за всю жизнь не выпил.

– А много ты прожил?

– Вот скоро двадцать будет.

– Если будет.

– Ну вы, дядя, шутник. А что, здесь каждый день шампанское дают?

– Ты откуда, браток, попал сюда?

– Из-под Керчи.

– Понятно... Это там, где наш полководец товарищ Мехлис ихнего Манштейна воевал... Лихо воевал...

– Нормально. Их там тьма была.

– Ну-ну... Не ворочайся, господи! Койка узкая. Хочешь на полу лежать или на табуретках? Я тебе это быстро устрою.

Положили на койку, так лежи смирно, береги место. Видишь, как другие вповалку...

– Так здесь санаторий. Я же говорю. Вы не видели, как в полевых госпиталях...

– Я, браток, много чего видел. Не дай бог тебе увидеть.

– А здесь даже шампань.

– Завтра у тебя эта шампань из носа полетится. И из жопы тоже. Как поешь кашу на шампанском утром и вечером, суп с рыбой на шампанском вместо воды, и зубы чисть и...

– Так говорят, каши больше не будет. Кухня, говорят, сгорела.

– Правильно говорят. Теперь остались только рыбные консервы и шампанское, гори оно... Банка консервов и бутылка Крымского в день. Через день будешь мечтать о корке черствого хлеба... Если сможешь мечтать...

– И откуда у них столько шампанского?

– Из «Шампанвинстроя», браток. Это тебе не Керчь. На всю страну пузырьков напасено. В этих штольнях можно век прозимовать. Если не сдохнешь от шампанского и вони. И от другого...

– Чего другого?

– Дружок, лучше тебе этого не знать.

– Вы имеете в виду склады боеприпасов, мастерские по изготовлению снарядов, мин, гранат? – Так я это и сам знаю. Тут каждый знает. От этого не умирают.

– И ты полагаешь, что все оставят немцам в подарок?

– Так их сюда и впустят.

– Ну-ну...

– Все равно. Мне здесь нравится. Как в средневековом замке. Аж потолков не видно. Высотища какая! Да и конца не видно. Воняет только сильно, вы правы. Ну, к этому я быстро привыкну. Под Керчью горелым мясом так воняло, аж живот выворачивало. И мертвечиной тухлой, и порохом, и мочой. Здесь лучше.

– А теперь слушай меня внимательно, браток. Ты – ходячий. Попробуй прибиться к 47-му медсанбату. Их, я слышал, постараются эвакуинуть. Тяжелых понесут. Ходячих же отпустят, чтобы сами пробирались в сторону Камышевой бухты. Если бы я был с ногами, я бы ушел... Прибейся к ним. Ты молодой. Тебе жить надо. Ты, небось, ещё телочек не трахал...

– Это что? А... Не успел. Меня сразу после школы взяли. Не до девочек было...

– Ну вот... А я своих уже оттоптал. Хватит. Уходи, слышишь, уходи!

– Так и нас эвакуируют. И вас понесут.

– Не понесут.

– А вы откуда знаете?

– Знаю. Видел, кто утром приходил? Все осматривал. Головой качал. Нос грязным платком прикрывал...

– Видел. Генерал какой-то...

– Не какой-то. Заяц.

– Какой заяц?

– Зам по тылу. И с ним двое. Я их знаю. Один – воентехник 2-го ранга. Савенко или Саенко... Взрывник. Уходи. Сегодня же к вечеру уходи. К Камышевой бухте. Пристань к кому-нибудь из местных. Как зовут-то тебя?

– Леша.

– Если выберешься, а ты должен выбраться, Алеша, выпей за меня водки. Или самогону... Ох, как мне сейчас полстакана не хватает...

* * *

Половина мая хлестал дождь, но не майский, который вместе с громом, как бы резвяся и играя, а ледяной, мартовский, злобный, ладожский. Город запахнулся, скукожился, замер. Подниматься не было сил, желания. Надо было вылезти из-под теплого одеяла – посещение туалета наваливалось свинцовой необходимостью, однако этот путь в два-три метра по холодному линолеуму босиком казался непреодолимым, и только возможность и перспектива снова нырнуть в ещё не остывшую постель делала сей подвиг осуществимым. Забившись с головой под одеяло и согрившись, можно было заставить себя начать думать о предстоящем дне. В это время – время раннего промозглого серого утра, да ещё после бессонной тревожной ночи – нависавший день казался ещё более беспросветным обреченным и тягостным, нежели это

безжалостно неизбежное утро, линолеум, враждебный прогрессивному человечеству, допотопный туалет с проржавевшим бачком, слезящиеся продрогшие стекла окон... Постепенно начинало светлеть, тело оттаивало под старым проверенным тяготами родительской жизни одеялом, нос произвольно высовывался в поисках свежего воздуха и предстоящий день начинал высветляться радужными красками, его мрачная графика обретала живописную притягательность. Назначенное по причине смещения несмешиваемых напитков свидание с замужней женщиной, чье имя пока не проявлялось в памяти, а внешний вид запечатлелся лишь полной грудью и резкими духами, становилось не столь безнадежно кошмарным: во-первых, скорее всего, не придет, – не дура же, да и муж – вполне приличный и влиятельный человек; побоится, если же припрется, то к этому времени можно хорошо опохмелиться, а там и трава не расти. Переэкзаменовка назначена не на сегодня, как казалось, а на послезавтра, а до послезавтра надо ещё дожить. Если сдать бутылки, то вполне можно выпить чашку кофе и съесть пару пышек. Если же бутылки не принимают, то придется нанести визит. Она всегда пустит, радостно захлопочет, зачирикает, будто ничего и не было. Потом надо будет сказать, что срочно вызывают в деканат. Если же не удастся, то ничего страшного. Главное после сытного завтрака не заснуть. Нет, день положительно мог получиться. Ещё полежать полчасика, вздремнуть. И всё будет хорошо. Так было всегда. Но не сегодня. Сегодня хо-

рошо быть не может.

* * *

Интермедия № 1. Элегическая

Любите ли вы Гейне...

Беда ли, пророчество ль это...

Душа так уныла моя,

А старая, страшная сказка

Преследует всюду меня...

Что может быть пленительнее петербургского утра середины июня примерно около четырех часов пополудни? Да ничего! Может, только Днепр при тихой погоде, да и то – исключительно у Гоголя. Юный музыкант – Мечтатель, но не тот, что у Достоевского, а современный, ленинградский, возвращался домой. Откуда он возвращался, не имеет значения: возможно, из гостей или же просто от друзей, в чьем доме он был больше, нежели гостем, а может быть, он просто вышел пройтись: спать в такую ночь нет никакой надобности и возможности. Знаю по себе. Сказать, что он был аб-

солютно трезв, не решусь, но и в состоянии опьянения представить его не могу, потому что его зовут Саша И...р. Кто его знает и любит, а его знают и любят очень, очень многие, подтвердят. Однако то, что он, как и любой другой человек, имеющий тонкую душу, богатое воображение и культуру подлинного петербуржца, был опьянен этим сказочным утром, – бесспорно.

Возвращался он примерно из района Невского проспекта к себе домой. А так как жил в то время – конец 80-х – на улице Рылеева, то шел он, естественно, по Знаменской улице, носившей в то время гордое название улицы Восстания. А утро было изумительное. Рассвет ещё робко окрашивал розовым светом вздремнувшие было гранитные особняки улицы, некогда соединявшей слободы Преображенского и Семеновского лейб-гвардии полков. Было безмолвно, прозрачно, мечтательно.

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

А propos. Грамотнее было бы озаглавить так: «Любите ли вы Брентано...» Но кто ныне знает про Клеменса Брентано. Однако именно он первый поведал нам эту историю:

На Рейне в Бахархе

Волшебница жила.
Ее краса немало
Несчастий принесла.

Безжалостно губила,
Всех, кто вздыхал по ней.
Таинственная сила
Была у Лорелей...

Так что златокудрую красавицу звали *Лорелей*. Хотя наиболее точно имя этой несчастной, обреченной на страдания губительницы и молодых, и старых:

И молодой, и старый,
Взглянув хотя бы раз,
Не мог разрушить чары
Ее волшебных глаз. —

произносит Ефим Эткинд в своем превосходном переводе:

Зачем мне жить? Поверьте
Несчастной Лоре Лей!
Я жажду только смерти
И к вам пришла за ней.

Брентано, возможно, как никто другой, прочувствовал германский фольклор – идеализированное и романтизированное

ванное воплощение духа народа, его старины. Прав Гете, вступившийся за «Волшебный рог мальчика». Когда авторитеты германской филологии обвинили этот шедевр гейдельбергского романтизма – сборник германских народных песен, изданный Ахимом фон Арнимом и Клеменсом Brentano – в мистификации, подобно «Песням Оссиана», Гете громогласно заявил, что вне зависимости от происхождения текстов, подлинности их «народности», в них – песнях «Волшебного рога мальчика» – *«бьется сердце германского народа»*. Это точно, хотя критики формально были правы: так, «Лоре Лей» – «народная баллада» о русалке-ворожее есть результат поэтического воображения Brentano.

С юности я испытывал особый интерес к Йенскому романтизму, гейдельбергцам, к Тику, Новалису, Шлегелям, Шамиссо, но к Brentano – в особой степени. Интерес и к его личной судьбе, и к его окружению, к его метаниям, несовместимым началам и порывам его души: от, к примеру, основания «Германского застольного общества» до «Жизни Господа нашего Иисуса Христа». Интерес и, несмотря на всё, симпатию. «Волшебный рог мальчика» все перевешивает. Хотя бы из-за Малера.

Однако одной из вершин мировой культуры «Лоре Лей» стала в вольной поэтической трактовке Гейне. Гейневская баллада о нимфе на скале близ городка Ассманхаузен переводилась на языки мира больше, нежели «Фауст». Даже во времена нацизма эту балладу не убрали из школьных учеб-

ников. Вымарали только имя еврея Гейне. *В ней бьется сердце немецкого народа.*

Это поразительно и симптоматично. Истинному шедевру, подлинной вершине духа человека-творца подвластно всё. И никакие химеры даже самых жутких варварских времен ему не страшны, не властны над ним. Убрали имя творца, и на этом их власть закончилась, дальше ручонки не дотягиваются. И не имеет значение, когда писал свой шедевр Брентано: когда создавал «Филистимлянин вчера, сегодня и завтра» или «Петуха, Курочку и Кудахточку» и стоял у основания «Застольного общества Германии», то есть являл себя не только ярым юдофобом, но даже антисемитом, или же в пору «Жизни Господа нашего Иисуса Христа» – одного из центральных его сочинений, проникнутом несомненной симпатией к иудаизму и иудеям новозаветных времен.

И Густав Малер прильнул к этому незамутненному живительному источнику «Волшебного рога мальчика», который был его путеводной звездой с 1892 по 1901, невзирая на все трагические изменения не его только жизненного пути, но и состояния души. Из этого волшебного рога черпал он тексты для многих песен и частей симфоний.

В 90-х годах композитор начинает испытывать кризис. Руководство Гамбургской оперой тяготило его; несмотря на признание его как гениального дирижера современности, свободы действий он не имел, плюс строго регламентированная дирижерская деятельность становилась препят-

ствием для сочинительства, плюс германский антисемитизм все сильнее отравлял атмосферу существования. Возможность получить должность руководителя Венской Придворной оперы – в 1897 году открылась вакансия – стала для него путем если не в земной рай, то в чистилище, шансом спасения. Парадокс: помимо всех творческих и материальных преимуществ, Вена привлекала Малера своей заслуженной либеральной репутацией, в ней он видел – и справедливо – убежище от германского антисемитизма. Но для того чтобы занять столь высокую должность в католической столице, он, некрещеный иудей, должен был сменить веру. Величайший парадокс: в антисемитской Германии, в Гамбурге, где он имел прочное, хоть уже и обременительное положение и славу великого дирижера, никого не волновало, что он – некрещеный еврей. Чтобы творить в либеральной и веротерпимой Вене, он должен был креститься. Неограниченная свобода творчества, да и жизни, требовала отказа от иудаизма. Стоила ли Вена мессы?

Выкрест, как правило, самый непримиримый антисемит или юдофоб. Есть исключения; случай Малера – одно из самых ярких тому подтверждений. «Среди несчастных всегда наиболее несчастен тот, кто к тому же еврей», – слова композитора. «То, что главным образом связывало Малера с еврейством, было сострадание: основанием для этого был его слишком богатый собственный опыт», – писал Альфред Роллер. Это сострадание, эта трагедийность мировос-

приятия, эта мучительная, специфически иудейская амбивалентность, раздвоенность между богоискательством и богоборчеством, эта мудрость познания тщетности постижения добра и потребность в достижении оно́го, – всё это дает новые импульсы его творчеству второго – «христианского» периода. Жизнь не обделила Малера личными трагедиями, но главная драма – судьбоносная – в расхождении иудейской сущности его души и внешнего христианского существования. Эта драма, как кажется, и стала почвой для возникновения всех величайших шедевров его главного творческого периода – от 1897 года и до смерти. Чем больше он отделил себя от еврейства в своем бытовом существовании, тем мощнее прорывалась в звуках его музыки его еврейская душа. И во все периоды в этих мучительных и плодотворных исканиях, метаниях, борениях с ним был «Волшебный рог мальчика» Брентано.

Да и Гейне, проделавший примерно тот же путь – мучительный, порой постыдный, порой трагедийный, – не смог пройти мимо своего предшественника, у которого *бьется сердце немецкого народа*. А путь был извилистый. «Есть три ужасные болезни: бедность, боль и еврейство». Однако позже: «Я всего лишь смертельно больной еврей, воплощение страдания, несчастный человек». Названный *Хаимом*, откликался уже в юности на имя *Гарри*, стыдясь своего подлинного имени; затем и *Гарри* переделал на чисто арийское имя *Генрих*. Что не мешало в другой период жизни писать:

«Мы, *ученые евреи*, постепенно совершенствовали немецкий стиль». В письме Мозесу Мозеру: «Если он – Эдуард Ганс – делает это /Принимает христианство. – *Автор./* по убеждению, то он дурак, если из лицемерия, то он подлец. Признаюсь, мне приятнее было бы услышать вместо новости о крещении новость о том, что Ганс украл серебряные ложки». Через месяц сам крестился. Не по убеждению. Получил, по его же словам, «входной билет в европейскую культуру». Впрочем, не нам судить. Страшные времена были, есть и будут. И не осуждения, а сострадания заслуживают эти люди, великие и безвестные, вынужденные ломать себя, свои бессмертные души ради даже не благополучия или права на жизнь, а ради той же души, творящей и бессмертной. Ибо «Лорелея» Гейне бессмертна. Как и «Песни об умерших детях» Малера.

И это – так. Посему не буду менять названия Интермедии.

... Ближе к Рылеева, где-то между Саперным и Гродненским переулками взгляд нашего Мечтателя упал на двухэтажный особняк терракотового цвета, украшенный кремовой лепниной, с фигурами двух атлантов, которые привычно взвалили на свои плечи тяжесть балкона. Балкон же был в три окна, окна второго этажа – высокие, сверху овальные, обрамленные колоннами, в центре здания – «царский» подъезд, фигурки младенцев путти поддерживали карниз фронтона, к центральному зданию были пристроены флигель и конюшни – особняк! Окна первого этажа мало отличались

от окон второго, может, только размером. Дом и ранее поражал воображение – изысканное необарокко, но в обрамлении просыпающегося июньского утра он превратился в сказочный дворец. Саша неоднократно проходил – пробежал мимо этого дома, но то было жарким летним днем или дождливым осенним вечером, либо в морозную ночь – не до романтики и сентиментальных грёз. Да и вообще, некогда было разглядывать лепнину. А тут взгляд упал...

И – о, чудо! – воскликнула бы Лидия Чарская и была бы права, доживи она до этого момента. В зыбком мареве петербургской зари Мечтатель и Музыкант увидел совершенно обворожительных девушек. Они сидели у раскрытых окон первого этажа, кто-то – прямо на подоконниках. Их распущенные волосы чуть шевелил легкий просыпающийся дневной бриз, несший дыхание Невы и Балтики, лица, обнаженные руки, приоткрытые плечи отражали пастельные тона легких облаков. На них были светлые свободные одеяния, и их облик, в чем-то монашеский, движения рук, улыбочивые лица сливались в гармоническое единство с этим утром, городом, душевным состоянием времени и места. Сказочная, нереальная картина. Нимфы. Не знаю, щипал ли себя Саша... Так или иначе он приблизился к ним и убедился, что это не киносъемка (а это первое, что пришло ему в голову после шока и оцепенения), не постановочный эффект: туристов или зевак на улице в 4 часа утра не было, – это были реальные, прекрасные, как ему показалось и в чем он убе-

дился, молодые женщины, девушки, и они улыбались ему... Когда он поравнялся с окнами, одна из них спросила: «Молодой человек, у вас нет закурить», – и это несколько разрушило очарование белой ночи времен Федора Михайловича, но не слишком. Саша тут же сообразил, что и в те, романтические времена дамы курили пахитоски; ему привиделась пачка «Египетских» – тонких папирос популярнейшей фирмы «*Саатчи и Мангуби*», Зинаида Николаевна Гиппиус с сигареткой в длинном мундштуке, вспомнились роман «Воскресение» Льва Николаевича Толстого, Жорж Санд, известный мемуарист, писавший: «Среди дам находится немало любительниц этой приятной отравы. Однако признаемся, что маленькая тоненькая папироска отнюдь не безобразит хорошеньких дамских губок, а придает скорее своеобразную пикантность...». Короче говоря, наш герой тут же отдал всю пачку болгарских сигарет и в счастливом изумлении продолжил свой путь. Несколько раз обернулся в надежде и тревоге, что видение исчезло, но мираж не рассеивался, девушки смотрели ему вслед и призывно протягивали руки.

Всё чудится Рейн быстроводный,
Над ним уж туманы летят,
И только лучами заката
Вершины утесов горят.

И чудо-красавица дева
Сидит там в сияньи зари,

И чешет златым она гребнем
Златистые кудри свои.

Наутро, пробудившись и пытаясь убедиться, что это был не сон, наш герой пошел. Туда... В голове крутилось:

Sie kämmt es mit gold'nem Kamme,
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.

Дом стоял на месте. Это был тот же самый особняк терракотового цвета, тот же балкон в три оси, атланты никуда не делись. Овальные сверху окна были закрыты, и наяды исчезли, что казалось естественным и понятным: трамваи скрежетали, грузовики дымили, прохожие толкались, милиционер свистел – тут не до Лоры Лей. Надо было вернуться и ждать следующую ночь – ночь девятнадцатого века, ночь гейневских грез, но черт дернул его подойти и прочитать металлическую табличку, висевшую у входной двери.

*Кожно-венерологическая больница № 6
Дзержинского района, гор. Ленинград¹*

¹ Сердечная благодарность Саше И-ру за этот сюжет, с ним приключившийся.

Он старался не вспоминать Настю. Гнал ее от себя, а она приходила, проявлялась, словно материализуясь из воздуха в самые ненужные моменты, в совершенно неожиданных ситуациях, всегда некстати. Появлялась и молча проходила мимо, не глядя на него. Или тихонько садилась подле его кровати и укачивала воображаемое дитя. Вот и сейчас он вспомнил и явственно увидел ее лицо – она улыбалась ему. Он хотел сказать «прости», но удержался.

– Ты что-то хочешь? – спросила Лиза.

Что он мог хотеть? Что он мог сделать? И сейчас – в последний миг своей жизни, и тогда – много лет тому назад. В 32-м он был военкомом стрелкового корпуса в Приволжском военном округе. Совсем недалеко от нее. Мог, конечно, помочь материально, что-то послать. Он и посылал. Оказалось, не всё доходило. Да и то, что дошло, не могло спасти. Не это его мучило всю жизнь. Он делал то, что делать было нельзя. Он был виновен в ее жуткой гибели. Он убил ее. Не в прямом смысле. Он был безупречным винтиком той машины, которая погубила ее. И ещё миллионы. Настя ему напоминала об этом. Молча, ласково. И была эта ласковость страшнее улыбки щербатого. В *том* кабинете.

– Сестру вспомнил? – Лиза всегда читала его мысли.

– Топилин ушел? Закрой дверь.

А Тошу он никогда не видел.

* * *

Экстренное сообщение. Вчера вечером, в 19 часов 15 минут, на улице Предпринимателей, дом 5, корпус 2, квартира 11, третий этаж в угловой комнате у глухого окна задержан гражданин Единой и Неделимой Судомойкин Опанас-Георг Иванович, четырнадцать лет, за одиночный несогласованный пикет. Гражданин Судомойкин держал в руке плакат с надписью: «Свободу всем». Во время задержания сопротивления отряду Нацгвардии, подразделению полиции (Части Особого Назначения), чеченским миротворцам и дружине добровольцев-молодогвардейцев не оказал. При аресте и обыске присутствовали понятые: гражданин Медленный В. В. – житель соседней комнаты, спецпоселенец, ветеран обороны Усть-Илимска и гражданка Безерчук А. И – дворник. По статье 112/06*-бис (до 8 лет строгой изоляции) гр. Судомойкину предъявлено обвинение в охаивании российской истории и дискредитации патриотизма, выявленные в опорочивании русского языка (непроставление восклицательного знака в конце предложения), а также в пропаганде анархо-синдикалистского утопического терроризма (запрещенного в стране ВиНВР. – *Ред.*) (ст. 663/50-Ук* – до 11 лет строгой изоляции). За соучастие в преступлении разыскиваются пособники террориста – гр. Кобатько Рафаил Си-

гизмундович 11-ти лет и Иванов Шалва Арсенович (кличка «Дристан») 7-и лет (несовершеннолетний – ст. 443/001 Ук*), а также производятся аресты членов их семей, одноклассников и их семей, учителей и их семей, свидетелей и их семей. В ближайшую субботу в 11 часов утра по всей стране назначены массовые стихийные митинги протеста против терроризма и надругательства над русским языком.

А сейчас легкая танцевальная музыка. Поет Иосиф...

* * *

*«О, я обнял бы весь мир без моего недуга!
Моя молодость, я чувствую это, только теперь
начинается!.. Каждый день я все ближе подхожу к той
цели, которую чувствую, но не могу описать».*

Бетховен. Дневник.

* * *

Ничего особенного. И всё это ничего не значит. Всё ничего не значит. То, что вежливо позвонили, ничего не значит. Если пришли ночью и перевернули комнату – ничего не значит, возможно, хотели уточнить деталь в биографии, а то, что ты и твои родные за этот час посидели, так это бесплатное приложение. Бонус. Забава. Если вызвали в Первый

отдел или Отдел кадров днем и оттуда увели, весело беседуя, – ничего не значит: скорее всего, никогда не вернешься. То же и с вежливым звонком. У нас всё ничего не значит. Если не пришли и не позвонили, это ничего не значит. Придут завтра. Или могут прийти. Надо привыкнуть к этой мысли. И с ней жить. Как с мыслью, что возможен дождь в любое время года, несмотря на прогноз. Надо к этому привыкнуть: возможен и неизбежен. Надо привыкнуть, что живешь в этой стране. Если поймешь в конце жизни, что проскочил, значит повезло. И всегда держи под кроватью или на антресолях, на чердаке, в подполе рюкзак или чемоданчик с необходимыми вещами на первое время. Можно с сухарями. Кто знает, что они там придумают. И ни в коем случае не иди с ними на контакт. Отвечать надо. Кратко, односложно. Без эмоций, без всяких эмоций, вежливо, но как робот. Да, нет, не знаю, не помню. Всё! Желательно правду, иначе запутают. Сиди прямо, смотри в глаза. В дискуссию не вступай. Будут пытаться втянуть: «А вы как думаете?» – «Не знаю. Не думаю!» Любят сделать перерыв, как бы отдохнуть, снять очки, потянуться в кресле, улыбнуться, расслабиться и тебя расслабить. Не ведись. Расскажут анекдот – тебе или коллеге, не смейся. Сиди, смотри прямо в глаза. Или воскликнут: «А "Зенит" опять продул, блин!». Это их маза: мол, хоть мы и в этом кабинете, по разную, казалось бы, сторону, но мы же – соплеменники, мы же – сограждане. Свои. Земели. Это слово они любят. А «Зенит» действительно проиграл! Ноль

реакции. Ты не с ними. Между вами стена. Никакой общности. Враги. Но это – внутри. Не показывая. Скорее – чужие, инопланетяне. И не верь. Ни слову не верь. Пытайся не терять голову и просчитывай, что им нужно. Будут закидывать удочку издалека. Старайся любой соблазн, любую наживку отметать. Спросят, не пора ли в отдельную квартиру переезжать, отвечай: не надо, мне и в коммуналке без удобств хорошо. Квартиру могут и дать, за это придется расплачиваться всю жизнь. Уж лучше в петлю. И не надейся на то, что выйдешь. Войдя в Тринадцатый подъезд по Войнова, забудь о воле. Скорее всего, тебя выпустят, на тебе ничего нет и быть не может, скорее всего, ты им зачем-то нужен – как информатор, пусть и невольный, как подсадная утка, хрен их знает. Просто для забавы, чтобы сломать. Это для них и забава, и задел на будущее: авось сгодится, чем больше сломанных, тем им спокойнее. Скорее всего, выпустят, но ты не надейся. Вошел к ним – ты уже мертвец. Они это сразу просекают. И надежд не строят, так, отрабатывают хлеб. Даже если им нужна какая-то мелочь, к примеру, уточнить, когда Пушкин убит, не отвечай. Пушкина им сдавать не след и, главное, ни в чем, даже в самом безвинном, помогать им нельзя. Их не должно существовать в нашем мире. Расслабься. Глубоко вдохни. О маме не беспокойся. Мы ее не бросим. А ты... Храни тебя, Господь, мой мальчик.

* * *

И в том году грибов было очень много.

* * *

Заседание Особого Совещания

Святого Присутствия Блюстителей Веры при Московской Епархии от 02 марта по рождению Христа

Кесария Филиппова, подножие горы Хермон.

Протокол М666/082-907М

Глава Особого Совещания Святого Присутствия Блюстителей Веры: **Кобулов** Богдан Захарович, генерал-полковник, Заместитель Народного Комиссара НКВД, НКГБ СССР, Начальник Главного управления советским имуществом за границей (ГУСИМЗ), Первый Заместитель Министра Внутренних дел СССР. Расстрелян 23 декабря 1953 года, Москва.

Секретарь Особого Совещания: **Фрайслер** Роланд (Roland Freisler), председатель Народной судебной палаты (Volksgerichtshof) Третьего Рейха. Член РКП(б) (1918–1920), Комиссар по продовольственному обеспечению; член

НСДАП (1925–1945). Убит американской бомбой 3 февраля 1945 года во дворе Народной судебной палаты после вынесения смертного приговора Рюдигеру Шляйхеру и Клаусу Бонхёфферу.

Председатель: **Павлов** Дмитрий Григорьевич, генерал армии, Герой Советского Союза, Командующий войсками Западного фронта. Расстрелян 22 июля 1941 года, совхоз «Коммунарка».

Заседатели:

1-й – Гордов Василий Николаевич, генерал-полковник, Герой Советского Союза, командующий войсками Сталинградского фронта. Расстрелян 24 августа 1950 года, Лефортовская тюрьма.

2-й – Смушкевич Яков Владимирович, генерал-лейтенант авиации, начальник ВВС РККА, помощник начальника Генштаба РККА по авиации; генерал-инспектор ВВС РККА, дважды Герой Советского Союза. Расстрелян без суда (предписание Берия Л. П. за № 2756/Б от 18.10.41) 28 октября 1941 года, гор. Барбыш, Куйбышевской области.

Адвокаты, назначенные из списка Трибунала Особого Совещания Святого Присутствия Блюстителей Веры:

1-й – Кабулов Амаяк Захарович, генерал-лейтенант, начальник Управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР и 1-й заместитель начальника ГУЛАГа. Расстрелян 26 февраля 1955 года в Лефортовской тюрьме /? /.

2-й – Вознесенский Николай Алексеевич, заместитель Председателя Совета Министров СССР, Председатель Госплана СССР, Член Политбюро ЦК ВКП(б), академик АН СССР, лауреат Сталинской премии. Расстрелян 30 сентября 1950 года через час после вынесения приговора в Ленинграде.

Переводчик протокола с арамейского: **Ульрих** Василий Васильевич, армвоенюрист, генерал-полковник юстиции. Умер 7 мая 1951 года в Москве в своей постели.

@

Председатель: – *«Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: "За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?" И когда Пётр ответил ему: "Ты – Христос, Сын Бога Живого", тогда Иисус сказал ему: " <...> ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах"».* (Мф. 16:13, 16–19) – с этим продолжим заседание Совещания. Аминь.

1-й заседатель: – Аминь. Продолжу. Всё это так, однако создается впечатление, что Автор отдает предпочтение фашистским захватчикам, которых мы били и будем бить. Это предпочтение однозначно читается в тех фрагментах руко-

писи, где идет речь об оставлении командующим составом СОР Севастополя. Высказываниями Манштейна и других гитлеровских военачальников по вопросам солдатской этики и долга командира подчеркивается аморальность и даже преступность поведения конкретных советских полководцев во время оставления Севастополя. В принципе эти высказывания правильны, но из уст врага и особенно в данной конкретной ситуации и конкретных реалиях они работают с отрицательным знаком. Что принципиально неверно и неприемлемо с нравственной стороны. Не оправдывая отъезд вице-адмирала Октябрьского и генерал-майора Петрова, отмечу и подчеркну, что они выполняли приказ Командования, а выполнение приказов вышестоящего начальства есть святой долг военнослужащего и основа дееспособности армии.

2-й Адвокат: – Уважаемый коллега ошибается. Ваша честь, господин Председатель, господа присяжные, извиняюсь, господа заседатели! Действительно, фашистских захватчиков били и будем бить. Господин 1-й заседатель прав, упоминая о том, что «в принципе» – подчеркиваю! – «в принципе высказывания немецких военачальников, фельдмаршала Манштейна, в частности, правильны». Добавлю не только немецких, но и советских командующих, адмирала союзнических войск, а также конкретные действия командиров среднего звена Советской армии, которые не бросили солдат, сражаясь и погибая вместе с ними – эти действия и высказывания абсолютно верны, естественны, более того,

неизбежны с точки зрения солдатской этики и воинской чести. Более того, с точки зрения военной необходимости, логики боевых действий. К этому вернусь чуть позднее. Бесспорно, что выполнение приказов вышестоящего начальства есть долг каждого военнослужащего, хотя в конкретной ситуации выполнение воинского долга и следование солдатской этике могут входить в противоречие, и невозможно в самом общем виде определить, что приоритетно в каждом случае (смотри дело генерал-лейтенанта Ефремова М.). Однако в разбираемой Автором ситуации никакого «конфликта» интересов, то есть конфликта между долгом – приказом и солдатской этикой нет! Командующие СОР – вице-адмирал и генерал-майор не должны были выполнять приказ, так как приказа не было! Было разрешение покинуть войска. Они попросили, им разрешили! Зачитываю отрывок из обращения вице-адмирала Филиппа Октябрьского Кузнецову, Буденному, Исакову. *«/.../ прошу Вас разрешить мне в ночь с 30 июня на 1 июля вывезти самолетами 200–250 человек ответственных работников, /.../и, если удастся, самому покинуть Севастополь, оставив здесь своего заместителя генерал-майора Петрова»*. На что был получен ответ Наркома ВМФ СССР адмирала Н. Г. Кузнецова: *«Эвакуация ответственных работников и ваш выезд на Кавказ Ставкой разрешены»*. Никакого приказа – разрешение.

Председатель – Возражение принято.

2-й заседатель: – Хорошо. Однако как бы то ни было,

ссылаться и не просто ссылаться, но и фундировать свою аргументацию ссылками на высказывания нацистского преступника недопустимо. Автор преступил красную...

2-й адвокат: – Я протестую! Военного преступника не хоронят с воинскими почестями, а Эрих фон Манштейн был похоронен именно так в 1973 году в Дормфарке. И вряд ли военного преступника пригласил бы Канцлер Конрад Аденауэр в качестве советника по вопросам обороны, что произошло в 1953 году. Манштейн – один из реформаторов современного военного искусства, наряду с Роммелем или Гудерианом, настоящий воин, а не гестаповец или чекист, он евреев не расстреливал и не сжигал...

2-й заседатель: – Протестую! В 1950-м году фельдмаршал Манштейн был осужден как военный преступник за «недостаточное внимание к защите гражданского населения», а также за применение тактики «выжженной земли» и приговорен в 18 годам тюрьмы. Да, был освобожден в 1953 году по состоянию здоровья и приглашен Аденауэром. Но осужден! В отличие, скажем, от упомянутого уважаемым коллегой Гудериана, который был на Нюренбергском процессе только в качестве свидетеля. Ему обвинения в военных преступлениях действительно предъявлены не были.

Председатель: – Прошу прекратить прения не по существу.

2-й заседатель: – Ваша честь! Осмелюсь заметить, что полемика идет о допустимости, вернее, недопустимости ис-

пользования свидетельств нацистских преступников.

2-й адвокат: – Или не преступников!

Председатель: – Даю две минуты для завершения прений по этому пункту.

2-й заседатель: – Ваша честь, помимо юридической стороны дела, которая бесспорна, так как зафиксирована судом, есть и чисто моральное соображение. Манштейн, который оказался так любезен Автору, в отличие от многих армейских военачальников Третьего Рейха, лишь добросовестно выполнявших установления в области Окончательного решения еврейского вопроса, был особо и агрессивно нетерпим к евреям, и в особенности к советским евреям, отличая их от европейских.

2-й адвокат: – Протестую! Непосредственная вина Манштейна в преступлениях против еврейского населения, в том числе и против крымчаков и караимов в Крыму не доказана. Все приведенные в Нюрнберге и других судах документы являются косвенными уликами, поэтому никогда Манштейн не был официально обвинен в геноциде еврейского или какого-либо другого народа.

2-й заседатель: – Уважаемый коллега! Я понимаю Вашу позицию. Мы с вами добросовестно выполняем нашу работу. Вы ищете любую юридическую трещинку в моих доводах, я стараюсь пробить вашу защиту. Естественный соревновательный процесс, чего мы с вами в другой жизни не имели. Однако, есть нечто более важное, нежели соревно-

вательный процесс или профессиональный успех. Высшая истина. Что бы ни решил суд, но мы с вами никуда не денемся от установок великолепного воина и носителя подлинной немецкой солдатской этики – Эриха фон Манштейна. *«Еврейство представляет собой посредническое звено между врагом в нашем тылу и Красной армией. /.../ Еврейская большевистская система должна быть уничтожена раз и навсегда, чтобы никогда не вторгнуться в наше жизненное пространство в Европе. /.../ Солдат должен понимать необходимость жестокого наказания еврейства – носителя самого духа большевистского террора».* Это – ваш Манштейн. Приказ Манштейна о «жестоким наказании советских евреев» открыл «новую страницу» в истории Холокоста. **Впервые** армия была задействована в Окончательном решении, так как, по Манштейну, именно советские евреи воспринимались не как евреи вообще, как нация, а как главные и самые активные «носители большевистского духа». Подлинные носители большевистского духа вроде Мехлиса, которого Манштейн с удовольствием раздолбал в пух и прах под Керчью, мало пострадали от этого приказа фельдмаршала, а вот ни в чем не повинные евреи или крымчаки мучительно умирали в газовых камерах, сгорали, запертые в избах, массово расстреливались около ими же вырытых рвов...

2-й адвокат: – И я вас понимаю, коллега. Поэтому прощаю вас, за «вашего», то есть «моего» Манштейна. Он такой же мой, как и ваш, то есть руконеподаваемый и непрощаемый.

Он – враг. И к «Окончательному решению» я отношусь так же, как и вы, и вы это прекрасно знаете. Однако это ни в коем случае не влияет на оценку обсуждаемых сегодня событий и позиции Автора, которая мне близка не в силу профессиональных обязанностей, а по самой сокровенной сути. Эта сокровенная суть в следующем: каков бы ни был Манштейн, но если бы командование СОР не покинуло Севастополь, не обрекло на смерть и пленение почти 80 тысяч солдат и матросов, то есть, если бы выстраивало свое поведение по примеру Нахимова, Истомина или Хрулева и соотносясь с нормами солдатской этики Манштейна или Хюбе, хоть они и враги, то большинство из 79 956 человек, брошенных на произвол судьбы, то есть нацистов, не погибли бы. Ведь вам, как и мне, известно, что попавшие в плен погибали при конвоировании или в концлагерях, комиссары, коммунисты и евреи расстреливались на месте или в фильтрационных лагерях, многих закапывали заживо, топили в море. Вам также известно, как обращались немцы с оставшимися в живых: *«Вы даже не представляете, что чувствовали тысячи голодных и израненных бойцов на скалах Херсонеса, когда немцы сверху закидывали их гранатами, да на головы мочились, всю бездну отчаяния и черной убивающей тоски, которую пришлось испытать людям, брошенным своим командованием и обреченным на смерть и плен».* Это лишь одно из многих свидетельств – матроса Григория Земиховского. Количество раненых, брошенных в Севастополе, точно не из-

вестно – от 15 до 40 тысяч человек. Все медицинские учреждения армии и флота были оставлены на «милость победителя». Впрочем, с ранеными, медперсоналом, обслуживающим контингентом и просто прибившимися гражданскими лицами в Инкерманских штольнях – имею в виду Медсанбат № 427 – разобрались «своими силами». Это особый разговор... Немногие выжившие испили свое в концлагерях – сначала немецких, затем в советских, уже после войны. И в советских было в разы страшнее и обиднее. Генеральско-адмиральские беглецы же... Да вы сами все знаете. Цацки навесили.

Председатель: – Ваше время истекло. Объявляется перерыв.

* * *

– Так вы утверждаете, что в боксерский клуб вас сосватала мадам Плевицкая?

– Нет, я ничего не утверждаю, я отвечаю на ваш вопрос. С хозяйном «Спортивно-бойцовского товарищества» меня познакомила Юлия Константиновна Таскина.

– Это, которая баронесса.

– Да, баронесса фон Клод-Юнгербург.

– И с чего это баронесса вас так возлюбила?

– Она меня никогда не видела. Об этом, вероятно, ее попросила мадам Плевицкая. Данная баронесса была пианист-

кой, первой женщиной-аккомпаниатором на радио Константинополя. Наверное, госпожа Плевицкая попросила ее.

– Плевицкая, Плевицкая. Супруга генерала Скоблина... То есть вашей судьбой интересовались генерал Белой армии и его жена... И помогали вам. Это за какие такие глазки, извольте спросить?

– Насколько я знаю, этот белый генерал и его жена – ваши агенты. Плевицкая уже сидит в парижской тюрьме, слава Богу, а генерал...

– Тебе, сука, ещё не все зубы выбили? Я тебе, блядь, яйца отобью, козел. Ты у меня кровью срать будешь! Сухадрев, в разделочную его!

* * *

«– Я понял, этого быть не должно.

– Чего не должно быть?»

– Доброго и благородного, – отвечал Адриан. – Того... за что боролись люди, во имя чего штурмовали Бастилии и о чем, ликуя, возвещали лучшие умы. Этого не должно быть. Это должно быть отнято. И я это отниму.

– Что ты хочешь отнять? – Девятую симфонию, – ответил он».

Томас Манн, «Доктор Фаустус».

«Московское время – пятнадцать часов, пятнадцать минут. Передаем...». Уж который день прошу метлу дать новую. Эта один мусор плодит. Шкварк, шкварк, только асфальт общественный царапает. А асфальт тоже денег стоит. Федюнька опять насрал. Сразу видно. Зоська так не срет, они – таксочки – так мелко-мелко гадят, а Федюня – здоровый пес, полковничий. Любо-дорого за таким убирать. Сразу видно – полковничий. Овчарки вообще уважение вызывают. Но не такое, как волкодавы. Вот волкодав срет – одно изумление. В 29-м доме такой живет. Прямо член Политбюро или начальник Газнефти, а не пес. А я всё думаю, с чего это Шаламов взял, что Спиридон – сексот. Мол, все дворники из крестьян не стучать не могут. Так он Ляксандру Исаичу писал где-то в годе 65-66-м. Я не читал, ребята в ЖЭКе рассказывали. Вот я или, к примеру, Тимофей из 29-го, где волкодав вавилонские башни зафузыривает, так мы – крестьяне, но мы не стучим. Докладываем, как положено, по начальству, кто балует или нажрался кто, но так это по закону. А что б сексотничать... Впрочем, Варламу Тихоновичу виднее. Уж он-то все знает. Да и с кошкой он прав, а Исаич не прав. Не могла кошка пробежать мимо этапа. Ее давно бы съели. Прямо так, живую. Разодрали бы и съели. Пока теплая. Там всё ели, что двигалось. Варлам Тихонович доподлинно знал.

Писал об этом. Тимошка малохолный и сел за это – что читал и рассказывал. Шаламыч хороший, тихий жилец... А хоть и все сексоты! Хоть и Спиридон. Ну, стучал, но это на пользу. Главное же, его истина: волкодав прав, людоед – нет! Если сексот, значит дурак?! Так не бывает. Сексот – он умнее всех. Одно непонятно, откуда Спиридон это знал – про волкодава... Не мог же он Эренбурга читать, да ещё в 42-м, да в «Красной звезде». «Красную звезду» тогда сразу на самокрутку пускали. Хотя Эренбурга не курили. Его берегли. Это не какой-нибудь пустобрех вроде Алешки Толстого. Да, тут Ляксандр Исаич маху дал. Маху и Авенариусу. Волкодав прав! Век – волкодав! На плечи кидается. Но не волк я по крови своей. А кто я? Нет уж, лучше волкодавом. Волкодав прав. А людоед – нет. Людоеды – те почти все на Бутовском. Или дают стране угля на Воркуте. Или в нитяных тапочках по просторам Каракума шкандыбают. Так вот, я всё думаю, у волкодава, наверное, промеж ног батон размером с любительскую колбасу болтается, не меньше.

* * *

Столько лет прожил и ничему не научился. И только сейчас, на 75-м году, наконец, осознал правоту Шаламова. Его мудрость, выработанную на зоне, но без которой выжить во всеобщей Зоне «Одной Шестой (уже – одной Восьмой)» невозможно. *«У меня изменилось представление о жизни*

как о благе, о счастье. Колыма научила меня совсем другому. Сначала нужно вернуть пощечины и только во вторую очередь- подаяния. Помнить зло раньше добра. Помнить все хорошее – сто лет, а все плохое – двести. Этим я и отличаюсь от всех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века».

*** * ***

Если пройтись по Невскому в семь часов вечера в состоянии средней трезвости, да ещё и в хорошую погоду, чтобы без дождя или мокрого снега, а такое случается раз пять в году, то где-то около магазина «Мечта» (это дом № 72) можно было встретить немолодого человека в сером макинтоше и поношенной кепочке а-ля Ильич. Личность ничем не примечательная. Но в этом была вся прелесть и загадочность этой фигуры. Росточка мужичонка был среднего – думаю, метр семьдесят, если считать с кепкой и толстыми подошвами ботинок. Ботинки – всегда в пыли; такое впечатление, что добирался он до магазина «Мечта» сквозь песчаные бури пустыни Гоби или ремонтные работы на Садовой улице. Выражение лица неизменно сосредоточенное. Видно, что думал или ждал, или просто дышал воздухом Невского. Некоторые прохожие с ним здоровались, и он им ответно кланялся. Никто с ним не заговаривал. И он был не словоохотлив. Изредка поднимал голову и пристально смотрел на слово «МЕЧТА».

Стоял он недолго – около часа и уходил. Куда, самому Б-гу известно. Когда его не стало, город опустел. Я уехал. Мечта исчезла. Невский – на месте, но стал другим. Чужим.

* * *

Генерал снял фуражку, вынул белоснежный носовой платок и приложил ко лбу. Батист моментально увлажнился, обозначив контуры его территории: довольно обширной с заметными «лиманами» – залысинами. Затем он аккуратно освободил переносицу от пенсне, протер стекла и прикрыл глаза. Казалось, что он на минуту заснул. Впрочем, это случалось часто. Генерал был тучен, одышлив и, казалось, сонлив. Впрочем, он действительно был сонлив, особенно на всевозможных совещаниях, как правило, пустых, ненужных и многословных, на молебнах и парадах. Так его и запомнили на всех официальных церемониях: с опущенными веками, утирающим пот белоснежным носовым платком с лица и багровой шеи. Его адъютант – Павел Андреевич Макаров постоянно фальшиво стонал, что главная задача при командующем есть добыча хорошего вина, хотя это была приятная и не сложная задача, но вот с обеспечением носовыми платками всегда возникали проблемы: не напасешься. Барон Врангель, познакомившись с ним, писал, что, не будь на нем генеральского мундира, «каждый бы принял его за комика провинциальной сцены», с «красным обрюзгшим лицом, от-

вислыми щеками и громадным носом-сливой, маленькими мышинными глазками на гладко выбритом лице».

Зато когда появлялся в цепи, он молодец и армия молодец. Узнать его было невозможно. С трудом, отдуваясь и вытирая лицо очередным белоснежным платком, вылезал он из своего вагона и по-стариковски переваливаясь, направлялся к цепи. Но поравнявшись с нею, он преобразался. Это был другой человек. Бодрый, уверенный в движениях, – как вспоминал позже Миша Левитов, – с легкой пританцовывающей походкой: гусар двенадцатого года. К пулям относился, как к надоедливым мухам – отмахивался, но не нагибался, не вздрагивал, не уклонялся. «Пусть они меня боятся». И они его боялись, обходили – облетали стороной. Солдаты и офицеры обожали своего Мая. Бесстрашие тогда ценили более всего. В атаку с ним шли, «как на учения». И побеждали. Тот же барон Врангель, крайне разборчивый в отношении своих сослуживцев, отмечал ум, внутреннюю силу, беспримерную отвагу, кристальную честность своего предшественника на посту Главнокомандующего Добровольческой армией. Как вспоминал впоследствии 32-летний генерал-лейтенант Андрей Шкуро (в 1919 году – командующий конным корпусом), когда красные в мае предприняли массированное наступление на Каменноугольный район, Май-Маевский с согласия Деникина начал отвод войск. Составы уходили один за другим. Снаряды рвались на станции. Все бежали. Даже начштаба генерал Агапеев. Остался лишь поезд коман-

дующего. *«Май-Маевский сохранял, однако, полное спокойствие и хладнокровие; он успокаивал всех. Простояв три часа, генеральский эшелон дождался последних отступавших частей»* и – неожиданно! – подкрепления: пластунской Кубанской бригады полковника Якова Слащёва, хотя и ослабленного состава, переломившей ход сражения, и сделавшей отступление ненужным.

Генерал Борис Александрович Штейфон – герой японской и Великой войны, соратник генерала Юденича во время штурма Эрзерума, офицер Добровольческой армии, профессор, доктор военных наук, впоследствии начальник штаба, затем командир Русского Охранного корпуса (РОК) – личность с невероятной судьбой: генерал в русской армии, в Белом движении – один из немногих, если не единственный, еврей (по отцу), не говоря уж о Вермахте и СС, в состав которого входил РОК; этот генерал Штейфон, в 1919 году – командир Белозерского полка, а затем 4-й пехотной дивизии Добровольческой армии, впоследствии вспоминал:

«Застучал телеграфный аппарат:

– У аппарата ген[ерал] Май-Маевский. Какова у вас обстановка?

Я доложил. Утешительного было мало. [...]

Аппарат "задумался". А затем через минуту:

– Я сам сейчас приеду на атакованный участок. Продержитесь?

– Продержимся, Ваше Превосходительство. Не беспокойтесь!

В фигуре М[ай]-Маевского было мало воинственного. Страдая одышкой, много ходить он не мог. Узнав о его намерении приехать, я отнесся скептически к подобному намерению и не возлагал особых надежд на приезд командира корпуса.

Через 1/2 часа генерал был уже у наших цепей. Большевицкие пули щелкали по паровозу и по железной обшивке вагона.

Май вышел, остановился на ступеньках вагона и, не обращая внимания на огонь, спокойно рассматривал поле боя.

Затем грузно прыгнул на землю и пошел по цепям.

– Здравствуйте, Н-цы!

– Здравия желаем, Ваше Пр-во.

– Ну что, заробел? – обратился он к какому-то солдату.

– Никак нет. Чего тут робеть!

– Молодец. Чего их бояться, таких-сяких.

Через 5 минут раздалась команда командира корпуса:

– Встать! Вперед! Гони эту сволочь!

Наша редкая цепь с громким криком "ура" бросилась вперед. Большевики не выдержали этого порыва, и положение было восстановлено».

.....

– Не понимаю вашего настроения Владимир Зенонович. Полтава так никогда и никого не встречала. Триумф.

– Посмотрим, как будет провожать, Борис Александрович.

Замолчали. Командующий посмотрел на пустой графин.

– Павел Андреевич!

– Слушаю, Ваше Превосходительство, – в кабинет бесшумно влетел простоватого вида адъютант командующего, с прямым пробором гладко зачесанных волос.

– Озаботьтесь, голубчик.

– Слушаюсь, Владимир Зенонович.

– Ваш адъютант по виду из купеческого сословия.

– Да Бог его знает, Борис Александрович. Услужливый малый. Вы знаете, дроздовцы меня поначалу не очень возлюбили...

– Да, они – крепкий орешек. И верны памяти Михаила Гордеевича. Хотя – лучшие из лучших. Направляются они – не мне вам рассказывать – на самые трудные участки фронта. «Малиновые» не отступают, хоть и несут огромные потери, но стоят до последнего. Гвардия!

– Отступают, отступают. Все мы отступаем...

Адъютант также бесшумно проскользнул в открывшуюся дверь и поставил на столик запотевший графин с белым вином, две граненые рюмки и небольшое блюдо, накрытое крахмальной салфеткой.

– Спасибо, голубчик.

Адъютант исчез.

– Да... так вот поначалу не очень. И я их понимаю. По-

сле генерала Дроздовского... Полагаю, что Антон Иванович намеренно устроил мне сие испытание, так как ранее меня фактически не знал. Я ведь не был первопоходником, как вы знаете, да и вообще в обоих Кубанских походах не участвовал. Решил посмотреть, примут ли меня дроздовцы: примут – значит быть мне на коне, а не примут – сослали бы куда-нибудь в тыл, обучать юнкеров...

Разрешите? «21-й номер» – лучший. Сейчас такое вино уже не гонят. Где Смирновы...

– Спасибо, Владимир Зенонович, но я не пью. Днем. Да и вообще.

Май-Маевский с сожалением посмотрел на графин.

– Павел Андреевич!

– Слушаю!

– Убери!

– Есть!

– Такое впечатление, что он лежит под дверью. Молниеносен...

– Да. Услужливый паренек.

– Скорее походит на денщика, нежели...

– Так он мне очень пригодился, когда я приступил. Мои глаза и уши. Я знал, что дроздовцы говорят и думают. Очень пригодилось.

– Осмелюсь возразить, Владимир Зенонович. Пригодилось ваше умение воевать и личная храбрость. Этим вы покорили их. Если не полюбили – любят они своего первого

командира, – то уважением прониклись. А это у малиновых дорогого стоит. Так что дело не в вашем «купчике» с прилизанными волосами.

– Не нравится он вам... Да, кстати, ведь вы тоже из купеческого сословия, если не ошибаюсь?

– Так точно. Батюшка мой – Александр Константинович – купец 3-й гильдии, ранее цеховой мастер.

– Выкрест?

– Да. Моя матушка была дочерью дьякона, так что брак иначе...

– Знаете, меня это как-то мало волнует. В наших двух родах – Маев и Маевских были и католики, и православные. А, всё едино. Мой батюшка – поляк, шляхтич, капитан, геройски с горцами воевавший, был уволен со службы без пенсии и без мундира. Отказался участвовать в экспедиции генерала Муравьева против повстанцев Калиновского в 63 году... А мы – из мелкопоместных, то есть полунищие. Где Бог был? Честно говоря, у меня с Ним непонятные отношения. Погромы же стараюсь пресекать, но разве всюду поспеешь. Да и люди озверели-с...

Штейфон сдержал улыбку. Нерелигиозность и грубоватость Владимира Зеноновича были секретом Полишинеля. Ходила история о том, как генерал, относившийся с нескрываемой иронией к рассказам Митрополита Киевского о святых мощах Киево-Печерской Лавры, спасённых им же, генералом, от большевиков, велел мощи вскрыть. То ли стало

любопытно, что это, то ли сомневался в их существовании. Митрополит, упорно, но вежливо сопротивлявшийся такому святотатству, в конце концов вынужден был подчиниться. Очевидцы рассказывали: когда Митрополит Киевский поднёс Май-Маевскому серебряную ложку со святой пещерной водой, генерал, не желая обидеть монахов и не компрометировать себя, принял ее, но затем, отвернувшись, тихонько «отраву» выплюнул, да попал случайно на эти самые мощи.

Что же касается погромов, то, действительно, никакой «политики белого террора», коллективного наказания за деяния большевистских лидеров Май не проводил, напротив, противился оной. Однако подобные эксцессы, неоднократно имевшие место (до 500 человек было убито во время погромов), достойного отпора не получали, виновные наказывались выборочно и весьма мягко. Исключением был, пожалуй, Александр Павлович Кутепов: его короткое, как удар хлыста, слово «расстрелять!» вселяло ужас, и в радиусе его влияния погромы не случались. В целом же силы военной власти были недостаточны, распылены, в основном, направлены на борьбу с большевиками, сочувствовавшими, Петлюрой и различными бандами. Здесь Май-Маевский был беспощаден. До 20 тысяч было убито при борьбе с повстанцами Махно и других атаманов, большевики расстреливались по приказу генерала без рассмотрения дел, в массовом порядке.

– Так что выпить не желаете? И правильно. Я с этим злом борюсь. Но получается не всегда.

И об этом знал Борис Александрович. О том, что генерал был «тихушником», то есть пил в одиночку и круто пил, знали практически все. Так же, как и то, что его шустрый адъютант, вошедший в полное доверие командующего, добился такого влияния, благодаря «дару» вовремя налить, умело опохмелить, да и с дамами «из общества» познакомиться. Поговаривали, что оба пользовались «благосклонностью» дочерей харьковского купца-миллионщика Жмудского: генерал – старшей дочери, адъютант – младшей. Впрочем, это были слухи, в них не очень верилось. А если кто и верил, то за грех не считал. Популярность генерала в армии от этого не страдала. Таких оглушительных побед в безнадежном положении никто не знал, а поражения были достойны и неизбежны. Пока никто так близко к Москве не подходил. И никого солдатская масса так не ценила. Вчера, и сегодня. Даже в 17-м – когда генералов и офицеров вешали, расстреливали, пытали, прибывая гвоздями к груди андреевские ленты, а к плечам – погоны, бросали на штыки, как последнего Верховного Главнокомандующего русской армии в Великой войне Николая Николаевича Духонина, в это кровавое время Май-Маевский к своим наградам: Св. Анне (3-й и 2-й степени), Св. Владимиру (4-й и 3-й ст.), Св. Станиславу (3-й, 2-й и 1-й ст.), золотому Георгиевскому оружию, Святому Георгию (3-й и 4-й степени), прибавил самую ценную награду – солдатский Георгиевский крест («с веточкой»), то есть награду, вручаемую с марта 1917 года по решению солдат-

ских собраний в порядке исключения офицерам за «личную храбрость».

– Так что же так хмуры, генерал?

– Ну, вас, Борис Александрович, Господь умом не обделил. Не можете не понимать.

– Вы о ваших конфликтах с Антоном Ивановичем?

– О, это пустое. Дразги. Судьбу России это не решает. Даже если он согласился бы со мной, а я его настоятельно просил подумать о решении аграрного вопроса в положительном для крестьян смысле...

– Барон, как я знаю, также был против вашего суждения, считая, что решение крестьянского и рабочего вопросов возможно только после полной победы над большевиками и на основании твердой законности. Нельзя уступать вожделям простолюдина, пробольшевицки настроенного. Это признак слабости, что недопустимо.

– Дорогой Борис Александрович, их устами мед бы пить. Все это прекрасно и справедливо в одном случае: если победа над этим хаосом была бы возможна. А она немислима, если мы, помимо всего прочего, отталкиваем от себя Россию, которая нас кормит. А дожидаться твердой законности в России можно до второго пришествия. Так что дело не в недоразумениях с Деникиным. Даже, если он бы и согласился со мной, это лишь отсрочило бы катастрофу.

– Помилуйте, Владимир Зенонович, какую катастрофу! На войне всегда кто-то временно побеждает, кто-то отступа-

ет. Совсем недавно вы дошли до Киева, Орла, Воронежа. Это было славное мгновение, и ваше имя впишут...

– Никуда не впишут. Отступления не простят. Деникин уступит мою армию Петру Николаевичу, а меня – в отставку. Поражения не прощают. Но это все – мелочи. Катастрофа неминуема. Поверьте мне. Это – судьба России. К ней она шла всю свою историю. Шла своим «уникальным», в кавычках, путем. Дошла!

– Так за что же сражаемся, головы кладем, замерзаем, вшивеем, порем, вешаем, убиваем, живем в крови, отчаянии и надежде?! Вы – за что?!

– Да за то, чтобы умереть в ближайшем будущем, на последней пяди с чистой совестью: я делал, что мог, этой сволочи не поклонился, не согнулся. Сражаемся, чтобы себя уважать. Вы как хотите, а я... Павел Андреевич!

– Слушаю, Владимир Зенонович.

– Озаботьтесь, голубчик.

Генерал Штейфон не уставал поражаться какой-то невероятной прозорливости Май-Маевского, той мудрости, которую он подмечал у подчас неграмотных мужиков, хотя Зенонович был прекрасно образован, эрудирован: незаметной, тихой, потаённой, никак не угадывающейся за простоватой, неуклюжей, порой комической внешностью и весьма сомнительной в бытовом отношении репутацией. Прошло много лет, жизнь прошла, но Штейфон вспоминал своего командующего в самых неожиданных ситуациях, вплоть до *того*

дня – 30 апреля 1945 года в Загребе, и дивился: как *он* мог предвидеть...

И, вместе с тем, как уживалась эта мудрость, эта сила духа полководца и бойца с такой элементарной мужицкой слабостью, страстью, которую он не мог и не смог преодолеть, с *«пагубным пристрастием, с которым этот храбрейший солдат и несчастный человек» «боролся, но не поборол»* (Деникин). В минуты просветления понимал, не мог не понимать, что с ним происходит. Не мог не задумываться, откуда берутся деньги на все эти кутежи, что представляет из себя его адъютант – *«человек малоинтеллигентный, полуграмотный, без признаков даже внешнего воспитания»* (Штейфон), осмеливавшийся называть во время попок командующего на «ты». Не мог не прислушиваться к увещаниям Кутепова и Деникина умерить возлияния и, главное, удалить адъютанта. Александр Павлович был подчиненным Мая, поэтому при всем авторитете военачальника и жестокого воителя с нарушениями дисциплины в войсках, оказать воздействия не мог. Антон же Иванович мог, но *«видно, не считал нужным пресечь решительными мерами все увеличивающуюся соблазн»* (Штейфон). Владимир Зенонович понимал, задумывался, прислушивался. Однако таких минут просветления становилось все меньше, особенно после освобождения Харькова. Ранее генерал был «тихушником», то есть пил в одиночестве или со своим адъютантом, не подавая пример другим, никого не вовлекая. В Харькове, по мере того как

город становился всё в большей степени тылом, даже самые стойкие, даже Штейфон, как он сам позже признавался, не могли не поддаться соблазнам *«известного комфорта, правда, примитивного, от которого мы все отвыкли»*. *«Сужасающей быстротой тыл стал затягивать всех, кто более или менее соприкасался с ним. Лично на себе я испытывал его тлетворное влияние»*. Упоение победой, *«инстинкт прежней жизни, прежних культурных вкусов, привычек»*, влюбленность горожан и горожанок – все это ломало многих – но не всех! – от солдат до командующего. Его – в большей степени, ибо он, Генерального Штаба генерал-лейтенант, Главноначальствующий Харьковской области, председательствовал на всех банкетах: официальных, интимных. *«Прежде всего и больше всего утерял свою волю и заглушил лучшие стороны своего ума и характера генерал Май-Маевский. Его слабости стали все более и более затемнять его способности, и пословица о голове и рыбе нашла яркое подтверждение в харьковском периоде»* (Штейфон). Не мог не видеть, не понимать всего этого любимец армии. Признался Борису Александровичу: *«Стал слабеть. Сам чувствую, что машина портится»*. И, конечно, он лукавил, говоря о причинах предстоящей и случившийся вскоре отставки. Штейфон эту «детскую» хитрость отметил. Ни он, ни Зеноныч не могли знать то, что напишет и неоднократно будет повторять Деникин, но оба прекрасно понимали, чувствовали истинную причину падения Главноначальствующего. А писал Ан-

тон Иванович следующее: *«Личность Май-Маевского перейдет в историю с суровым осуждением... Не отрицаю и не оправдываю. Но считаю долгом засвидетельствовать, что в активе его имеется, тем не менее, блестящая страница сражений в каменноугольном районе, что он довел армию до Киева, Орла и Воронежа, что сам по себе факт отступления Добровольческой Армии от Орла до Харькова при тогдашнем соотношении сил и общей обстановке не может быть поставлен в вину ни армии, ни командующему. Бог ему судья!»*. То есть заслуживает осуждения отнюдь не вынужденное отступление... Как писал впоследствии Штейфон, *«в 1927 году в совдепии вышла книга "Адъютант генерала Май-Маевского". В этой книге автор ее – сам Макаров – в ярких саморекламных тонах повествует, как, будучи адъютантом генерала Май-Маевского, он якобы в то же время служил и большевикам»*. Действительно, такая книга не только вышла, но выдержала 5 изданий. Никакой, казалось, службы Макаров большевикам не оказал и оказать не мог. Он просто не мог передавать «в Москву» якобы добытые им сведения. Никакой связи не было, и в ЧК не подозревали, что у Май-Маевского в адъютантах служит самостийный большевичок. К тому же, авантюрист и вор: пользуясь своим положением «адъютанта Его Превосходительства» и служебными документами, он делал, якобы по поручению генерала, постоянные хищения на складах Армии медикаментов, мануфактуры и продуктов питания, бывших в огромном дефи-

ците, прежде всего, сахара и спирта, а затем продавал их на черном рынке, большую часть выручки он присваивал (пропивая в загуле с проститутками), остальное шло на оплату кутежей и все возраставшую зависимость Мая от алкоголя и своего адъютанта. Однако в главном Макаров был прав. Он, спиваясь сам, спаивал Май-Маевского – одного из самых ярких, талантливых, «везучих» генералов Белого движения. Это «весило» значительно существеннее, нежели все оперативные секретные сведения. *«Слабость М.-М. /.../принесла много вреда Белому делу»*, констатировал Штейфон.

... Всё это так и *не так, не совсем так*. *«Жил в нищете и забвении»*, – писал Деникин о последнем годе жизни Май-Маевского. В нищете – да: генерал ничего не нажил на своих прежних постах. Ходил даже злой анекдот (похожий на правду), что он тихонько распродал мебель из номера гостиницы «Квяст», когда проживал в Севастополе. Распродавал, чтобы жить. Возможно. Да, пил, да, читал Диккенса. Но был ли в забвении, деградировал ли, спился ли, опустившись и потеряв «боеготовность», как уверяли его недоброжелатели и завистники, а их было много? – Весьма сомнительно.

... В конце января 1920-го года командир формировавшегося в Симферополе добровольческого полка капитан

Н. Орлов поднял мятеж под непонятными лозунгами: что-то вроде «оздоровления тыла и более успешной борьбы с большевиками». Руководитель обороны Крыма Генерального штаба генерал-майор Яков Слащёв-Крымский из Джан-

коя по прямому проводу, ещё не перерезанному мятежниками, отдал *приказ* отставленному «опустившемуся» Генерального штаба генерал-лейтенанту Май-Маевскому (барон Врангель призовет на действительную службу Мая через месяц) мятеж подавить. Никому больше, видимо, Слащёв не доверял, только своему бывшему командиру. Получив приказ от своего младшего по чину и по возрасту (генералу Слащеву было 34 года), отставной 53-летний генерал-лейтенант, моментально собрав офицерский батальон с орудиями и бронепоездом, которые могли бы также ему не подчиниться, совершил бросок на Симферополь и вернулся «на покой» только после ликвидации мятежа. Вблизи армии и фронта он молодец, молодец и армия...

Не случайно Врангель вернул Мая в армию в 1920 году, назначив командующим тыловыми частями и гарнизонами. В дни трагедии именно эти гарнизоны и части сдерживали до последней возможности натиск краснопёрых во время погрузки Армии и гражданских на пароходы.

Всё было не так просто. Не запить, видя крушение не только прогнившей Империи, но великой цивилизации, было трудно даже трезвеннику. Впрочем, о цивилизации Владимир Зионович вряд ли думал. Распадалась Империя, а он – поляк, как и многие этнически *не русские* поданные Государства Российского, был свиреп по отношению к сепаратистским тенденциям, будь то Петлюровщина или казачьи движения. Его конфликт с генералом Красновым или гетма-

ном Украины (расстрел посла гетмана барона Боржинского) нанесли огромный вред антибольшевистскому фронту. Май это понимал, но переломить себя не мог.

... Поначалу Борис Штейфон Маю и его окружению не пришелся. Были подозрения, что он прислан как негласный соглядатай из штаба Главнокомандующего. Однако все последующие события сомнения развеяли, и Май-Маевский, прощаясь со Штейфоном, переходящим на более высокую должность, дал ему превосходную характеристику, как бы желая тем самым холод первого периода красиво перечеркнуть. В это время между ними образовалась довольно редкая атмосфера доверительности и исповедальности. Во время, кажется, последней беседы тет-а-тет (когда Май бросил чрезвычайно услужливому и въедливому адъютанту: «Пошел вон!») Владимир Зенонович сказал фразу, которую Штейфон запомнил с особой четкостью. *«Думаю, Борис Александрович, дело здесь закружится. Я закончу дни свои в России, хватит; все, что мог, сделал, Бог меня, грешного, очень грешного, простит. Ну, а у вас ещё все впереди, и не сомневаюсь, что вы ещё славно послужите. Неважно где, неважно, в каком качестве, но покидать сей мир в минуты роковые вы будете со спокойной совестью. Как и я. Мы из тех, кто лампаду зажигал, а она негасима».*

Эти слова стали первой фразой воспоминаний Штейфона: *«Добровольческая армия, зародившаяся в дни российско-го развала, явилась воистину единственной лампадой, ка-*

кую зажгла национальная совесть перед скорбным поруганным ликом своей Родины».

Действительно, в мир иной Май ушел буквально в последние часы существования Империи, когда отходили последние суда на Константинополь. Толком никто не знает, как умер Май-Маевский. Большинство – А. И. Деникин, полковник И. М. Калинин, начальник штаба Врангеля генерал П. Н. Шатилов и другие уверяют, что генерал скончался от сердечного приступа в автомобиле по пути следования на пароход, кто-то говорит о смерти в госпитале – «разрыв сердца». Однако никто из них лично не видел, все они говорили со слов других неизвестных «очевидцев». Самое «конкретное» сообщение: *«Около 4 часов приходит из города адъютант генерала Врангеля и сообщает, что только что умер генерал Май-Маевский /.../; проезжая по Екатерининской улице, он умер в автомобиле от разрыва сердца»* (Н. И. К).

Однако А. С. Кручинин в Докладе, прочитанном на конференции «Исход Русского Воинства» в Библиотеке-Фонде «Русское Зарубежье» 22 ноября 2005 года приводит свидетельство реального и хорошо известного очевидца – впоследствии видного советского кинематографиста, режиссера, автора таких фильмов, как «Человек с ружьем», «Ленин в Польше», «Отелло», «Бежин луг» и многих других – Сергея Юткевича. В 1920 году он работал в Севастополе в качестве художника-оформителя, ассистента режиссера. Кру-

чинин справедливо отмечал, *«что человеку, жившему, как Юткевич, в 1919 году в Киеве (И бесспорно видевшему триумфальное пришествие войск во главе с Май-Маевским. – Автор), да еще и обладавшему глазом художника, мудрено было бы не узнать или перепутать с кем-либо Май-Маевского, характерное лицо и «кутузовская» фигура которого в период «похода на Москву» многократно изображались на плакатах, фотооткрытках, в иллюстрированных журналах и проч.»*. Так вот, Юткевич пишет, причем бегло, мимоходом, без акцентирования, что делает его слова ещё достовернее: *«...Обезумевшие люди рвались к порту. На моих глазах генерал Май-Маевский, привстав в машине, выстрелил себе в висок»*.

... «Я лучше предпочту Кольт»...

Где находится тело Май-Маевского, неизвестно.

Борис Штейфон умер под утро 30 апреля 1945 года – в Вербное Воскресенье в Загребе (Независимое государство Хорватия). Уснул и не проснулся утром. Как было сказано в официальном извещении, «от сердечного приступа». Вечером 29-го он сделал смотр Войскам Русского Охранного Корпуса, затем присутствовал на Всенощном бдении. Перед сном, страдая от очередного приступа болезни печени, он *«потребовал, чтобы ему перед сном сделали какое-то впрыскивание – лег и... больше не проснулся»* (А. А. фон Лампе, «Пути верных»). По словам других соратников, он сам принял какое-то «новое» лекарство. Вспоминал ли Штей-

фон Май-Маевского в последние дни, часы, – не думаю. Было не до того. Но вообще вспоминал часто. С восхищением, осуждением, сожалением и признательностью. В любом случае, как о честном и доблестном соратнике в главном деле их жизни – борьбе с большевиками, Советами; он был один из немногих, если не единственным, кто не «вытер ноги» о Мая: в кругах белой эмиграции, в которой все довольно быстро разделились на враждебные лагеря, а многие и перегрызлись, выискивая «крайнего» в катастрофе, было принято считать Май-Маевского чуть ли главным виновником поражения в Гражданской войне...

Как и Май, Штейфон сумел избежать страшной кончины, какую приняли Шкуро, Краснов, князь Султан-Гирей Клыч, генерал-майор Доманов и многие другие менее известные, но не менее достойные люди из погибшей России.

* * *

Так что, как дело с Балаховичем? И где причина, и кто виновник, как понять? Это как с «Титаником». Отчего погиб? Верно. – От столкновения с айсбергом. Кто виноват? Не айсберг ведь. Впередсмотрящие. Не углядели. Почему не углядели? – Слишком близко он был, не успели отреагировать. А почему биноклями не воспользовались, тогда бы издали углядели? – А бинокли были закрыты на ключ в специальной каюте. Ключ от нее находился у офицера Блэра. А этого Бл-

эра в последний момент оставили на берегу, заменив другим офицером. Блэр же забыл или не успел ключ отдать. Сплошные конфузы. Виноват Блэр, не отдавший ключи. Виноват сменщик, не удосужившийся ключи потребовать. Виноваты те, кто молниеносно заменил офицера, не проинструктировав о его обязанностях. Виноват капитан «Титаника», не взломавший дверь секретной каюты. Виноваты впередсмотрящие, не потребовавшие необходимые им для службы бинокли. Все виноваты, и никто конкретно. А заплатили за это тысячи невинных.

Так и здесь.

* * *

– Проходите, садитесь. Представляюсь: меня зовут Леонид Николаевич. Я полковник, как вы понимаете, КГБ. Как вас зовут, я знаю. Сразу скажу, мы пригласили вас для небольшой и весьма доброжелательной беседы. Так что не волнуйтесь. Все, как правило, приходя к нам, нервничают. И это понятно. Чаще всего, зря нервничают. Увы, такова репутация нашей организации. Несправедливая. Что поделаешь! У каждой профессии есть свои специфические минусы. Да... Извините за нескромный вопрос, что у вас в этом облезлом чемоданчике? Вы после нашей беседы собрались в баню на Чайковского?

– В чемоданчике находятся теплые носки – 2 пары, смена

белья, свитер, пара трусов...

– А для чего они вам здесь? Или...

– Насколько я знаю, эти вещи разрешены. На первое время...

– Понял. Вы собираетесь остаться здесь надолго. С чего такая готовность, осмелюсь спросить?

– Так я же в КГБ. С 13-го подъезда...

– Понятно. Вы основательно подготовились. У вас были опытные инструкторы... Жаль. Они вас неправильно подготовили.

– У меня не было инструкторов. Я сам знаю.

– Вот это меня не интересует. Мне жаль, что вы пришли сюда с такой подготовкой. А откуда она у вас, это меня не волнует. И все же я попробую вас переубедить. Никто арестовывать или задерживать вас не собирается. У нас к вам нет никаких претензий. И никаких сомнений в вас у нас тоже нет. Вы хотите что-то сказать?

– Нет. Я слушаю.

– Насколько я знаю, вы учитесь на четвертом курсе, не так ли? Если я ошибаюсь, поправьте меня. Я прав?

– Да.

– Через год вы заканчиваете. Вы не думали о будущем? Кем и как вы собираетесь работать?

– Я ещё не думал.

– О вас очень хорошо отзываются и ваши соученики, и преподаватели. Э... Вы не разговорчивы. И это очень хоро-

шо. Насколько я наслышан, вы интересуетесь западной музыкой, верно?

– В такой же степени, как и отечественной. Это моя профессия.

– Конечно. Однако ваша статья, которую вы подготовили в СНО, посвящена Бетховену, если не ошибаюсь. Э... Я не ошибаюсь?

– Вы не ошибаетесь.

– Вот я смотрю вашу зачетку. Одни пятерки. Научный коммунизм – пять. Английский – пять. Итальянский – пять. Здорово! Вы там и итальянский изучаете? Замечательно.

– Полагается.

– Спасибо. У вас много друзей?

– Нет.

– Почему? Вас характеризуют, как компанейского парня.

– Друзья и компания – разные вещи.

– Правильно. Вот видите, вы, оказывается, можете говорить цельными предложениями из нескольких слов. Я было засомневался. Так, друзей у вас мало. Почему все-таки?

– Не знаю.

– Разве не хочется поделиться с кем-либо своими горестями или радостями, победами и неудачами, рассказать о творческих планах. Я вам признаюсь. Как вы понимаете, по роду своей деятельности я должен больше молчать, держать, так сказать, язык за зубами. Увы, такова профессия. Но так хочется иногда раскрыть душу, поделиться личными пере-

живаниями. Ведь мы – живые люди, хоть и служим в заведении, куда вы приходите с банными чемоданчиками в уверенности, что вас обязательно посадят, так как больше здесь ничего не умеют делать... Нет, мой друг, здесь живые люди – хорошие и не очень, умные и недалекие, скажем так, страдающие и бездушные. Разные, как и всюду. И не надо морщиться от слова «друг». Мы не враги. Скорее, друзья, соотечественники, во всяком случае. В этом, надеюсь, вы скоро убедитесь. Так, неужели вам не хочется кому-нибудь излить свою душу, просто пообщаться за рюмкой чая?

– Нет.

– То есть вам интересно быть в компании с самим собой?

– Да.

– Безопаснее... В этом вы правы. Стучать у нас любят. Как правило, не по делу. Так, сведение личных счетов. Но мы здесь в этом разбираемся. Вообще-то, вы мне все больше нравитесь. Вы – личность. Помните, как точно определил Бхагван Шри Раджниш, или проще – Ошо, индийский духовный наставник, гуру: «Тот, кто может быть счастливым в одиночестве, является настоящей личностью. Тот, чье счастье зависит от других, – есть раб по своей натуре». Люблю я индийских философов. А вы?

– Не знаю.

– Жениться не собираетесь?

– Нет.

– Ну и ладушки. Хотя в вашем возрасте... Извините.

Здравия желаю, Владимир Николаевич.

– Привет, Леонид. Садись. Не помешал

– Никак нет. Вот, познакомьтесь, Сергей. Беседуем. Симпатичный парень. Своеобразный.

– Здравствуй, Сергей. А что это ты с чемоданчиком?

– Так это он в баню собирался, товарищ генерал.

– В баню – это хорошо. Одобряю. Я любил попариться. Ещё до инфаркта. Нынче же остается только завидовать. Помнишь, Леонид, анекдот был. Докладывает Берия, что Рокоссовский на фронте с женой Симонова живет и ещё с кем-то. «Что делать будем, товарищ Сталин?»– «Что, что... Завидовать будем»... С юморком был... Ты, Сергей, Сталина, конечно, не любишь?

– Не знаю. Я маму люблю.

– Это ты сто раз прав! О чем беседуете, друзья?

– Так, о жизни. Вот спросил, не собирается ли Сергей жениться. Говорит, рано ещё. Не собирается.

– А зря. Вот я женился на четвертом курсе Военмеха... Хорошее было время. Сколько тебе лет, Сергей?

– Двадцать один.

– О! И мне было двадцать один. И ничего. До сих пор с супругой живем душа в душу. Так и ты, Леонид, где-то в этом возрасте обзавелся...

– Так точно. Примерно в этом.

– А девушка, Сергей, есть?

– Нет.

– Ну, это плохо. Нельзя таким анахоретом жить. Время застолий, увлечений, споров – время юности, молодости. Веселый вечер в жизни нашей запоем, юные друзья; шампанского в стеклянной чаше шипела хладная струя... Это – Пушкин, а он понимал толк в жизни, не правда ли?

– Не знаю.

– Что-то ты хмурый какой-то... А спорить любишь?

– Нет.

– Мой тебе совет: обзаведись девушкой и поезжай с ней в Крым или, скажем, за границу... Ты был за границей?

– Нет.

– А хотел бы?

– Нет.

– Что так?

– Мне и здесь хорошо.

– Это понятно. Мне тоже здесь хорошо. Здесь всем хорошо... Но, помню, как я мечтал выбраться за границу. Посмотреть. Хотя бы в Болгарию. Только значительно позже, уже по службе, направили в Индонезию. А я мечтал в Италию... Неужели не хочешь посмотреть Венецию, Флоренцию, Падую... вся мировая история, культура, музыка... Ты же – музыкант.

– Он, товарищ генерал, изучает Бетховена.

– Очень хорошо! Музыка революции. «Обнимитесь, миллионы...» Так из Италии можно и в Вену махнуть, и в Бонн... Потом, может, увлечешься Верди или Россини, Пуч-

чини опять-таки... А Респиги? «Пинии Рима» – О! Я бы на твоём месте мечтал... бы...

– Спасибо. Мне и здесь хорошо.

– Неразговорчивый клиент попался...

– Товарищ генерал, Сергей ведь понимает, где он находится.

– Вижу.

– И чемоданчик не для бани.

– Это я сразу понял. Неконтактный ты человек, Сергей. Это и хорошо, и плохо. Не хочешь понять с полуслова. Это даже лучше. Давай прямым текстом. Ходить вокруг да около с тобой бесполезно. В тупого играешь. Ладно. Скажу по сути. Фьоренца с тобой учится. На одном курсе. Этого ты отрицать не будешь?

– Нет.

– Какие у тебя с ней отношения?

– Никаких.

– Так и никаких? На одном курсе...

– Встречаемся на лекциях, в коридоре. Здравуемся. Один раз в компании были. На ноябрьских.

– Возможно. Верю. Но не поверю в то, что ты не заметишь, не чувствуешь, что она в тебя втюрилась. Ну! Отвечай!

– Не обращал внимания.

– Хорошо, ещё раз – допустим. А теперь абсолютно честно. Конфиденциально. Ты знаешь, кто ее папа?

– Нет, вернее, слышал, – какой-то босс.

– Правильно. Большой босс. Миллионер. Вкладывает огромные деньги в нашу экономику, промышленность. Конечно, не коммунист, но наш друг. На сегодняшний день, во всяком случае. Бизнесмен: знает, как и где можно хорошо заработать. Поэтому большой друг. Пока. Так вот. Его дочь – эта Фьоренца – девушка весьма настырная. И она забодала своего папашу. Вынь да положь ее любимого – то есть тебя, мой друг. Жить она без тебя не может и не хочет. Джульетта, мать твою... Извини. Ее папаша связался с нашим Самым Верхом, понимаешь, Самым Верхом и попросил не мешать вашим отношениям. И с Самого Верха, понимаешь, с СА-МОТО ВЕ-Р-Р-Р-ХА – выше не бывает – нас попросили, способствовать этому, так сказать, союзу. ПОПРОСИЛИ – это серьезнее, чем приказали. Ты со своими родителями ее знакомил?

– Нет.

– Познакомь! Приведи и познакомь.

– Она испугается. И они тоже.

– Она чего?

– Их комнатки.

– Товарищ генерал, я узнавал. Родители Сергея живут в одной комнате коммунальной квартиры без удобств. Вместе с Сергеем.

– Это поправимо. Сережа, хочешь жить в отдельной квартире с родителями в центре города?

– Нет. Нам и на Пестеля хорошо.

– Господи, почему ты на нас волком смотришь? Мы к тебе с добром. А родители-то чего испугаются? Она же симпатяга. И оч-чень богатая. Мечта, а не невестка.

– Иностранка. А связь с иностранцами карается. За браки сажают.

– Ну, это раньше было. Глянь, Высоцкий даже Марину Влади отхватил. И ничего. На воле. Сейчас можно. Если, конечно, с нашего согласия. Точнее, уведомления. Всякие иностранцы бывают, сам понимаешь. А здесь – высшие офицеры КГБ к тебе сватами. Сказка, а не жизнь!

– Да.

– Да – да. Ладно, молчун. Скажи честно, она тебе нравится?

– ... Э... Да.

– Слава Богу! Вот и чудненько, вот и чудненько...

– Я знаю, гражданин начальник, что вопросы здесь задаете вы. Но я бы хотел спросить.

– Слушай! Забудь ты про эти дурацкие советские фильмы про КГБ и прочую муру. Здесь можешь спрашивать про что угодно, можешь спорить, говорить, что хочешь... Только честно! А ты парень честный, это видно. Не скрываешь своего отношения. Мы же люди, соотечественники... И перестань с этим «гражданин начальник»!

– Я вам нужен как агент в семье?..

– Нет! Ты нам вообще не нужен. Женись и уезжай в свою Италию. Ты нас больше не увидишь, и мы – тебя. Тоже мне,

агент влияния... Бетховеновед. Прости.

– Почему вы решили, что я уеду? В любом случае я не уеду. Мне и здесь хорошо.

– Здрaсте! Такого ещё не бывало, чтобы советский молодой человек не воспользовался возможностью свалить отсюда... Ну, посмотреть, как там плохо. Свалить и вернуться, конечно. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Женись. А там жена, глядишь, и уломает твою гордыню.

– Извините, нет. Если она меня любит, то будет жить со мной там, где я захочу.

– Это было бы прекрасно. Но в этой коммуналке, вида которой она испугается...

– Извините, гражданин начальник, но если там много лет живут мои родители – не шантрапа или пьяницы – ветераны войны, заслуженные люди, отец – ученый, я – блокадник и так далее, то почему какая-то девица не сможет. Не сможет – разведемся. Если женимся, конечно...

– Ну только этого нам не хватало... Разведемся... Впрочем, давай не будем забегать вперед. Нам надо, чтобы ты бы выполнил нашу просьбу – женился, а там уже не наше дело.... Понятно?

– Товарищ генерал, я же говорил, что Сергей – умный парень и не забывает, где он находится.

– Хорошо. Ты прав. Я понимаю, Сергей, поворот слишком крутой и неожиданный. Пришел в тюрьму садиться, а тут Италия, зять миллионера... Ты должен подумать и сорие-

тироваться. Время есть. Но его мало. Подумай. Если решишь нам помочь, а я на это сильно надеюсь... иначе... сам понимаешь... нам позвонишь по этому телефону. Через два дня у вас будет веер смотровых адресов в том же Дзержинском районе. Лучших адресов. В старых особняках после капремонта. И одна личная просьба. На свадьбу или хотя бы на запись пригласить меня и Леонида Николаевича. Хочется на итальянского миллионера посмотреть. Не оповещая, конечно, о нашем служебном положении. Ну, иди. Вот пропуск на выход. Будь здоров... И соглашайся. Не порти свою жизнь... Личную и вообще...

– До свиданья.

– Вот именно. До скорого свиданья. Пока...

– ... Ну что? Что докладывать будем?

– Пока рано докладывать, товарищ генерал. Что он выкинет, не ясно.

– До чего дожили?! Совсем недавно я бы стер этого со-сунка в порошок, не задумываясь, в пыль. А теперь нужно уговаривать жениться на миллионерше.

– Политика, товарищ генерал. Ничего не поделаешь. И долг. Что прикажут, то и сделаем. Прикажут, так и в Господа Бога поверим, креститься начнем. Служба...

– Ну это вряд ли. Креститься... Хотя в 401-й школе нас и этому учили. Хорошо учили. Главное же, чтобы мы приказывали, а не нам. А там будем посмотреть.

– Пока же приказано этого хмыря уломать, товарищ гене-

рал. Женить.

– Понимаю... только обидно. Думаешь, не согласится стать зятем-миллионером? Тем более что эта девица – красавица. Я видел фото.

– Не знаю. Этот скрытный, уже зомбированный антисоветчиной молодняк – они непредсказуемые. Всё может...

– А если она согласится жить здесь?

– Ну это вряд ли. Поиграет месяц-другой в декабристку и взвоят. Лишь бы он фортеля не выкинул. Он – упрямый.

– Упрямый и принципиальный. Как сидел: прямо, в глаза смотрел. Не врал, но ничего не сказал толком. Закрытый, но не конфронтационный. Вообще-то – наш кадр. Я бы его взял в органы. Что выкинет?..

– Не повесится?

– Не дай Бог! Тогда нам головы не сносить. Юрий Владимирович такое не прощает. Хотя... Это – мысль. Только не так. Что-либо бытовое. Несчастный случай, автомобиль...

– И квартиру сэкономим.

– Не мелочись. Здесь надо все просчитать. Неизвестно, как *там* отнесутся. Проработай, как один из вариантов. Не более того! Лучше бы, чтобы согласился. И нам двойная выгода. Итальянские миллионеры на углу не валяются.

– Будем биться.

– Обнимитесь, миллионы... У-у-у... Блядь!

Не отрекаются, любя. А не любя? Отречение – это грех, беда, необходимость, блажь, случайность? И от кого отрекаются: от другого – любимого или нелюбимого, от веры, от страны, *от* себя, – или *во* имя себя, во имя родины, веры, любимого? И что тяжелее и непростительнее: отречение от веры или от нации? И что есть отречение?

Отречение от веры... Отречение от веры во Всевышнего или от ритуалов, присущих данному *способу* веры? Отречение есть потеря пути к Нему или нахождение, открытие другого – верного, а если не самого верного, то наиболее близкого душе «маршрута»? Если маршрут, то куда? К Нему – это понятно, а от него – куда? И возможно ли, и что за это платят?..

Отречение не от Него, а от *пути*, от *способа* Его постижения: переход из православия в католицизм, из иудаизма в лютеранство (наиболее верный и «безболезненный» вариант приобщения к христианству), из христианства в ислам (ныне все более распространенный вид смены вероисповедания) и так далее есть, как кажется, наиболее частый и типичный вид отречения в вопросах веры. Формально – это так. Во всяком случае, так было во времена ушедшие: от Него отрекались относительно редко. Чаще отрекались от «пути». Однако какая огромная разница, пропасть между, скажем,

«новыми» христианами – *обращенными*: марранами, выкрестами, морисками, которые, несмотря ни на что, оставались явно или чаще скрытно преданными своей религии и своим верованиям, духовному миру предков – и *отступниками* – *отпадающими* – искренне, добровольно, самоотверженно, раз и навсегда уходящими от этого мира, от веры, в которой были рождены: от христианства (апостасия), от ислама (иртидад), от иудаизма, от религии как таковой (атеизм). С атеизмом вопрос сложнее, ибо не есть ли атеизм своеобразная форма религии, *веры* в отсутствие высших и непознаваемых сил, *веры* в самодостаточность объективного мира и самомотивированность его существования, *веры* в силу разума и созидательной деятельности человека как главного материального и естественного творца цивилизации. Именно – *веры*, ибо доказать отсутствие некоей Высшей Силы атеисты не могут, а агностики и не пытаются. Впрочем, эти важные, возможно, принципиально существенные, но частные особенности атеизма как специфической *веры*, не меняют и не отменяют суть глубинных различий в сущностях *обращения* – в той или иной степени **насильственного** и *отступничества* – относительно **добровольного**. Разница не только между этими явлениями как таковыми, но и между социально-психологическими типами обращенных и отпадающих, природой и ориентацией и, соответственно, мотивами их поведения.

Эти два вида отречения, при всей разноприродной сути,

часто соприкасаются, пересекаются. Граница между ними бывает размытой, и с точностью определить, с каким видом отречения имеем дело, порой сложно. Да и само понятие «отречение», особенно, когда идет речь о *conversos*, имеет в ряде случаев размытое интерпретационное поле или просто ложное толкование, произвольную дефиницию и атрибутику. Можно ли назвать «выкрестом» человека, до крещения ни к какой религии не принадлежавшего, то есть атеиста, как, скажем, большого русского поэта Н. М. Коржавина, крестившегося в 65-летнем возрасте, никогда ранее никакого отношения к иудаизму не имевшего. Наверное, можно, если принимать активный атеизм, а именно таким атеистом в молодые, да и зрелые годы – до поры до времени – был Н. Коржавин («комсомолец-доброволец» в буденовском шлеме), за специфическую форму веры, верования. Но *только в этом* аспекте Коржавин – «выкрест», то есть сменивший одну «веру» – «атеистическую» – на христианство. Однако не это имеют в виду, называя – даже не в силу религиозной нетерпимости, а по безграмотности – Наума Моисеевича «выкрестом». Или однозначно безграмотная идентификация как «выкреста» о. Александра Меня, которого крестили в шестимесячном возрасте, или настоятеля церкви Христа Спасителя в Нью-Йорке протоиерея Михаила Меерсона, крещеного в 7 лет и др. Вот супруга протоиерея, матушка Ольга, – выкрест, отступник, то есть иудейка, принявшая иудаизм в совершеннолетнем возрасте – после эмигра-

ции из Москвы в Израиль, и *через иудаизм, через «ветхозаветные богородичные тексты»* пришедшая к православию по собственному, никем не навязанному выбору, без малейшего принуждения, но не без влияния близких (не по крови, а по духу) людей, в первую очередь о. Ильи Шмаина, его дочери Татьяны и других. Удивительная фигура матушка Ольга Меерсон (урожденная Шнитке) – профессор русского языка и литературы Джорджтаунского университета, доктор филологии (диссертацию защитила в Колумбийском университете), регент церковного хора (до 1995 года) – отличный музыкант, литургический богослов, искусствовед, переводчик. Богом отмеченная личность. Выкрест – отступник.

Однако при всех сложностях диагностирования и классификации, аутентичность отречения – основной индикатор двух его видов. *Обращение*, как правило, при всех многочисленных и разнообразных исключениях, в принципе – *фиктивно*. Эта фиктивность может быть имплицитной, потаенной, рано или поздно, но *выявляемой*. *Отпадение*, как правило, почти без исключений, – *подлинно*.

Обращенным более всего «повезло» в Испании (и нам, ибо это самый впечатляющий в силу своей абсолютности вариант и пример *обращения*). Ещё бы: на Пиренеях иудеи пережили «Золотую эпоху» своей многовековой цивилизации: с начала VIII века – завоевания Иберии мусульманами и до середины XII века – вторжения Альмохадов – почти четыре века евреи были признанной и ценимой частью исламско-

го общества. Эти века вознесли их на вершины экономической, интеллектуальной и культурной жизни Испании. Это была самая образованная, производительная и богатая его часть. Богатство, власть и особенно самодостаточность, ощущение и уверенность в своей самодостаточности, расслабляют и оказывают плохую услугу. В этом убеждаемся и по сей день, и не только в отношении иудеев.

Особый суд католической церкви – «Инквизиция» – был создан в 1215 году Папой Иннокентием III. Церковный Трибунал, в задачу которого входило «обнаружение, наказание и предотвращение ереси», был учрежден Григорием IX в Южной Франции в 1229 году, его деятельность охватила всю католическую Европу, особенно Пиренейский полуостров, и достигла своего апогея в институте Испанской Инквизиции, которая была рождена с санкции Сикста IV Фердинандом – королем Арагона и Кастилии – и Изабеллой Кастильской в 1478 году. Испанская инквизиция, подчинявшаяся только испанским монархам, помимо поддержания чистоты католической веры у подданных, должна была заменить средневековую инквизицию, находившуюся под надзором Папы Римского: «папская» инквизиция была чрезмерно терпимой и лояльной, по мнению «отцов реконквисты», к нарушениям канонической чистоты католической веры и тем более к ереси.

Задачи Святой инквизиции были многочисленны, деятельность охватывала различные стороны духовной, да и

светской жизни общества: от цензурирования всех печатных изданий христианской Европы («Индекс запрещенных книг» – 1559 год), борьбы с остатками участников патарии (религиозной борьбы «низов» за Ключийскую реформу, то есть против падения нравственности монашества и духовенства, продажи и покупки церковных должностей – «симонии», за освобождение монастырей от влияния светских властей, чистоту целибата и пр.), «ведьмизмом» (известные массовые процессы о ведьмах XV – начала XVII веков), еврейскими погромами (Папа Николай V в 1451 году передал Инквизиции дела о погромах: Инквизиция должна была наказывать погромщиков, предотвращать насилия и пр.) – до дел о двоеженстве, содомии, фальшивомонетничестве и др. В эпоху Реформации основное внимание Святой Инквизиции Испании привлекли проповедники-протестанты, протестантизм стал главным врагом монархов Пиренеев.

Однако доминанта всей деятельности Инквизиции, конечно, – *обеспечение каноничности веры новообращенных*, иначе говоря, искоренение тайного исповедания религии отцов новыми «христианами», выявление неискренности, «практицизма» принятия христианства и предотвращение (как следствия этого) явного или тайного отпадения от «истинной веры». Поэтому естественно, что именно Испания (и в меньшей степени Португалия) была самым благодатным местом для расцвета инквизиции. «Естественно» потому, что именно Пиренеи стали заповедником новообращен-

ных – conversos (выкрестов).

Ближе к завершению Реконкисты, то есть к концу XIV века, с вытеснением сарацинов из Испанских королевств последовало насильственное обращение иудеев и мавров в истинную веру. Точнее, они были поставлены перед выбором: покинуть землю предков или отвернуться от веры отцов. Трудно сказать, какой процент евреев выбрал тот или иной путь, но несомненно, что большая часть вынуждена была креститься. Эти conversos продолжали играть доминирующую роль в экономике, в финансовой, социальной, культурной жизни Испании, что постепенно и во всё большей прогрессии раздражало новую аристократию кастильянцев. Короче говоря, как и подобало, рост богатств и власти новообращенных вызвал соответствующую реакцию: появились всевозможные теории заговора евреев с целью разрушения испанского дворянства, государственности, Католичества и т. д. Реальных причин и доказательств для преследований не было, но необходимость проверки подлинного католического исповедания у новообращенных никто не отменял.

Как утверждали ранние хронисты (в частности, Хуан Антонио Льоренте), в Испании в 1481–1808 гг. жертвами инквизиции стали 341021 человек, из которых 31912 было сожжено живыми, а с 1481 по 1497 год в костре погибло чуть менее 9000 человек, около 6000 было сожжено после казни удушением. Более 90000 были подвергнуты церковному наказанию и конфискации имущества. Более поздние иссле-

дователи корректировали эти цифры в сторону уменьшения – примерно наполовину. Однако нельзя забывать и о раскаявшихся. Во времена Торквемады (в 1483 году испанскую инквизицию возглавил Томас де Торквемада – потомок крещеных евреев: его дядя, кардинал Хуан Торквемада, и его бабка были «из рода *обращенных* в святую католическую веру»). Так что о марранах-выкрестах, их внешнем и потаенном бытии Великий Инквизитор знал не понаслышке), то есть с 1483 года по 1498 год Consejo de la suprema или местные трибуналы, прибывая в тот или иной город, провозглашали «акт милосердия». Или «месяц исповедания»: в течение 30 дней иудеи (а затем и мавры) могли добровольно признаться в грехе и совершить покаяние. А грех – и самый великий – был один: отпадение от Католической веры, потаенная приверженность иудаизму или исламу. В это же время любой горожанин мог и должен был сообщить имеющуюся информацию о новообращенном христианине, тайно практикующим иудаизм (или ислам). Покаявшихся прощали или, в крайнем случае, приговаривали к штрафу и легкому наказанию: накладывали пост и епитимью, а также обязывали носить сан-бенито. Если же после покаяния осужденный снова попадал в инквизицию по подозрению в ереси, спасти его ничего не могло. При отказе от показаний прибегали к пыткам, которые изобрели и практиковали прежде всего в светских судах. Католическая церковь и инквизиция доминирующее значение придавали добровольному и чистосердечному призна-

нию не под пыткой и кровью себя не оскверняли. Сколько было таких «покаявшихся», сказать трудно, но несомненно: значительно больше, нежели взошедших на костер.

Примерно такая же судьба постигла и морисков – крещеных мусульман. Несмотря на «Капитуляционный договор» 1491 года, обеспечивающий религиозную свободу маврам в Испании, в 1502 году им было приказано креститься или покинуть страну. Однако через некоторое время мориски стали подвергаться преследованиям не меньшим, нежели марраны, и к 1607 году они покинули Кастилию.

Надо подчеркнуть, что НЕ-католиками (*некрещеными* иудеями, мусульманами, протестантами и пр.) инквизиция не занималась. Инквизицию интересовало исключительно *отпадение* от веры, в первую очередь, *новообращенных христиан*, то есть потаенное, а иногда и открытое демонстративное возвращение в лоно прежней религии. Впрочем, о каком потаенном исповедании веры предков могла идти речь, особенно у иудеев, если самые важные и необходимые признаки – «символы веры» – были абсолютно наглядны. Соблюдение субботы, правил кашрута, седера и других обязательных законов иудаизма служили наглядным и наилучшим способом распознать среди марранов отступников – практически всех. *Анимус* – то есть насильно принужденные (так рассматривала марранов еврейская традиция) это прекрасно понимали. Закупка определенных продуктов в определенных лавках или недвижение в субботу были бесспорными доказа-

тельствами, несравнимыми с любыми доносами или расследованиями. Однако евреи на это шли.

Вышеприведенный обширный экскурс в область общеизвестных хрестоматийных сведений об испанской инквизиции понадобился только для того, чтобы ещё раз показать: мощная, веками выверенная, гибкая и лицемерная, беспощадная, но юридически безупречная, всевидящая государственная машина борьбы с отступничеством ничего не могла сделать с непреклонной привязанностью обращенных к своей природной, традиционной, с молоком матери воспринятой вере. И в конечном счете потерпела поражение: Трибунал Священной Канцелярии Инквизиции был окончательно упразднён во времена королевы Изабеллы Второй в 1834 году, хотя практически прекратил свою деятельность в сфере борьбы с вероотступниками в XVI веке. Марраны же, а точнее их потомки, составляют мощную часть испаноязычного населения планеты. Только в Испании сегодня насчитывают более 20 % населения, имеющего еврейские корни, более 12 % – арабские или берберские, хотя столетия христианизации – уже не насильственной – оторвали их от иудейского мира. Такая же ситуация и в католическом Новом Свете, где инквизиция боролась с массово бежавшими туда марранами с большим энтузиазмом и жестокостью, нежели на Пиренеях (не было европейского «глаза»), и где потомки этих новообращенных играют весьма значительную и значимую роль в политической, финансовой, культурной жизни общества.

Всё это есть свидетельство жизненной силы, мужества, беспримерной сопротивляемости иудейской цивилизации, что обеспечило ей выживание и сохранение самоидентичности в течение тысячелетий. Случай уникальный: ни одна цивилизация не исчисляет свою историю более чем в 1000–1500 лет (за исключением китайской и индийской), однако только иудейская сохранила себя в первоизданном виде более 4 тысяч лет, не имея большую часть своей истории собственной территории и государственности, то есть в *рассеянии*.

Однако историческая неудача – поражение Инквизиции – есть и свидетельство того, что *естественная* смена веры, пути к Нему – нонсенс, явление если не невозможное, то крайне редкое и противоестественное. И действительно, человек, с раннего детства живущий в среде своей религиозной общины (особенно, иудейской), верующий и соблюдающий Закон и традиции, практически не соприкасается с другой религией, у него нет ни возможностей, ни желания соблазниться другой верой. Может быть стимул: от сохранения жизни, состояния, положения до возможности преуспеть и пр. Однако это уже не относится к *естественной осознанной* смене религии или конфессии. Он может восстать против устаревших догматов своей веры, ее ультраортодоксальных крайностей, пойти на путь реформации (Спиноза, Уриэль да Коста), в конце концов, уйти от веры как таковой, уйти от Б-га (как в случае с А. Ковнером), но перейти искренне и добровольно в иную религию, безоговорочно принять систему ценностей,

постулатов новой религии, естественно войти в новую общину, изменить способ мышления и нормы поведения, быта – всё это сомнительно и может быть лишь исключением из правила. Здесь необходима долгая изнурительная работа интеллекта, мощное душевное потрясение или духовное перерождение, житейский или нравственный катаклизм, а это случается крайне редко. Главное же, это относится к *отпадению* от веры, но не к обращению.

Сказанное характерно не только для иудеев или испанских мавров. Любая форма насильственного, активного или пассивного прозелитизма, как правило, не работает; во всяком случае, в первом-втором поколении. Как не работают насильственное или стимулированное удержание в рамках дозволенной – государственной религии. Как не работает попытка просто изменить веру в любом ее проявлении, предать свои убеждения.

Подтверждений тому масса: от Нового Света до глубинки Российской Империи.

В 1575 году король Испанский Филипп Второй издал декрет, по которому индейцы изымались из-под юрисдикции инквизиции. Продиктован декрет был не соображениями гуманности, а чистым практицизмом: масштаб зверств монахов, коим были переданы инквизиторские функции, над местным населением достиг таких размеров, что работать на плантациях, в рудниках (то есть на корону, на Церковь) стало некому. Практически любого, то есть почти всех «ту-

земцев», можно было привлекать за отступничество от навязанной христианской веры, поклонение идолам, несоблюдение обрядов и так далее. Причем большинство отправленных на костер – это «рецидивисты», вторично нарушившие «слово», побывавшие в застенках монастырей, испытывавшие пытки и угрозу сожжения, но опять возвращавшиеся к своим идолам, к своим верованиям. О зверских расправах над беззащитным населением стало известно благодаря памфлету Бартоломео де Лас Касаса, запрещенному в 1660 году, но разошедшемуся по всей Европе. Как было сказано в решении Трибунала Инквизиции, книга *«содержит описание ужасных и диких преступлений, которые нельзя встретить в истории других народов, совершенных, по словам автора, испанскими солдатами, поселенцами и священниками католического короля в Индиях. Советуем запретить это повествование как оскорбительное для испанского народа, ибо даже соответствуй оно истине, было бы достаточно доложить об этом его Католическому Величеству, а не сообщать всему миру к удовлетворению еретиков и врагов Испании»*. Однако при всей неслыханной жестокости, «соответствующей истине», ещё несколько поколений коренных жителей Латинской Америки оставались верными прежним богам, да и ныне отголоски веры праотцов ещё заметны.

В России огненные забавы не были так распространены и регламентированы, как в Европе и колониях. Здесь предпочитали четвертование, обезглавливание, колесование, поса-

жение на кол. Да и способ сожжения «в срубe» – наиболее часто применяемый вид «казни огнем» – был более «гуманен», нежели европейский – на костре. Для светской и религиозной власти (а это в России – сиа́мские близнецы) срубы были предпочтительны, потому что, во-первых, мужество погибающих, как и вид огня, пожирающего человеческое тело, могли привести к смущению охочих до этого развлечения жителей (а на подобные забавы сбегались массы любопытствующих, эти представления были популярны в одинаковой степени как на Руси, так и в Испании, Европе – знаменитые *auto de fe*). Во-вторых, когда в огонь входили такие личности, как Аввакум со сподвижниками или протестантский проповедник Квирин Кульман, то воспитательная цель *позорища* (т. е. зрелища) могла быть дезавуирована: своим неистовым словом они могли народ в сомнение ввести, – патриаршей уверенности в крепости православной веры по Никону не было. Однако эти предосторожности имели и практическую пользу – в прямом смысле – для осужденных. Хорошо прилаженный сруб, проконопаченный, забитый паклей, берестой, просмоленной ветошью (на Руси всегда водились большие умельцы подобный сруб соорудить или хворосту подбросить) моментально при поджоге давал сильное задымление. Поэтому осужденный почти сразу терял сознание; достаточно было сделать 2–4 вдоха, и он уже не чувствовал приближающихся мучений. В Православном мире, то есть в русских княжествах, а затем в Московии, России до 1739 года (это – да-

та последнего сожжения в отечественной истории), согласно законодательным уложениям, Церковным Актам, в огонь бросали в основном волхвов (колдунов и колдуний), активных еретиков, проповедующих против Православия в его официально узаконенном варианте (но не иностранцев), повинных в разграблении или уничтожении церковного имущества, особенно икон. Вероотступники также были кандидатами войти в сруб, или на примитивный костер, или быть прибитыми гвоздями к деревянной стене, которая и поджигалась. И здесь мы встречаемся с ситуацией, аналогичной европейской: с удивительным мужеством и силой духа обреченных, прекрасно знающих, что их ждет, с непоколебимой приверженностью своим духовным принципам и символам веры, с фактическим бессилием государственно-церковной машины словом, уговором, угрозой, пытками, самой лютой казнью изменить убеждения или верования, подавить волю «еретика». Достаточно было только заявить о покаянии, о возвращении в истинную веру или отречься от заблуждения – в монастырях и казематах, в Приказе Тайных дел, Преображенском Приказе, в Тайной Канцелярии и всех других дознавательно-пыточных учреждениях всех времен искренностью не интересовались. Российские верхи испокон веков отличались неискоренимым формализмом во всех сферах своей деятельности (поставленная «галочка» – венец творения светского или духовного чиновника). Поэтому власти сполна удовлетворялись формальным выполнением

ем условий «спасения души» прихожанина, а следовательно, сохранения жизни, избавления от мучений. Однако в подавляющем большинстве известных случаев инакомыслящие – инакочувствующие – инаковерующие на это не шли. Были нечастые случаи массовых сожжений, как, например, старообрядцев: протопоп Аввакум Петров упоминал о подобной казни 100 своих не отрекшихся единоверцев; сам он после долгих безрезультатных увещеваний, просидев 14 лет в земляной тюрьме Пустозерска на воде и хлебе, взошел в сруб вместе с Епифанием, Лазарем и протопопом Никифором в апреле 1682 года. Не отрекаются любя. Любя Его, свой путь к Нему. Самая массовая казнь в огне была совершена в 1504 году – апогей и финал борьбы с ересью жидовствующих. Чаще случались индивидуальные процессы. Так в 1569 году за попытку переосмысления православных норм (потребление в пост телятины) были казнены нераскаявшиеся 3 человека. Через двадцать лет были брошены в горящий сруб муж и жена – еретики. В чем заключалась ересь, не ясно, но они прошли все увещевания и пытки, не покаядшись.

В деле же пыток и казней Святая Русь, где инквизиции практически не было, пожалуй, превосходила своих европейских соперников. Причем парадокс заключается ещё и в том, что наиболее чудовищные виды казней, практически не упоминаемые в иные времена и в иных странах, становятся обычным делом – «бытом» – тогда, когда Петр Первый прорубал окно в Европу: копчение заживо, распиливание дере-

вянной пилой, сжигание части тела и пр. (В скобках можно упомянуть, что новации Петра были живы и в XX веке, и не только в виде города на Неве. «Социально близкие», то есть, блатари, в лагерях, кои были и есть слепок с мира «воли», по словам В. Шаламова, считали делом обыденным «*перепилить шею живого человека поперечной двуручной пилой*», не говоря о других оригинальных традициях /«Очерки преступного мира»/).

Так, при великом преобразователе был впервые в России применен уже забытый в Европе способ казни – «тальян», то есть принцип «наказания» не человека, а части его тела, совершившей преступление. В 1714 году Фома Иванов по непонятной причине разрубил при свидетелях топором икону. Это преступление шло по самой тяжелой «статье» о богохульстве. Фому Иванова приговорили к *тальяну*. Сначала была сожжена его правая рука с зажатым в ней топором, и только после этого развели костер под ногами. В 1722 году аналогичным способом казнили другого преступника, который ударом палки выбил из рук священника икону. Ф. Берхгольц, свидетель экзекуции, писал, что рука богохульника, обмотанная просмоленной тряпкой, горела минут 8. Мужчина не издал ни единого стога. И не покался.

Если поступки этих двух богохульников необъяснимы (возможно, связаны с психическими аномалиями) и только по касательной подходят к размышлениям об отпадении от веры, то борьба со Старообрядческой или Древлеправослав-

ной церковь – прямая аналогия с деятельностью Инквизиции. Самой Инквизиции, как сказано, на Руси практически не было. При учреждении Петром Святейшего Синода был записан Духовный Регламент, одним из пунктов которого было учреждение должности «*Прото-инквизитора*». (Учился Петр у Запада, учился!). В обязанности его ведомства – «*провинциал-инквизиторов*» – входили, скорее, фискальные функции, а объектом внимания было исключительно духовенство, выполнение им Духовного Регламента и пр. Просуществовала русская инквизиция недолго: была распущена при Екатерине Первой.

Раскольниковство преследовалось практически с окончания реформ патриарха Никона и Царя Московского Алексея Михайловича, то есть примерно с середины 50-х годов XVII века: на Поместном соборе Русской Православной церкви 1656 года все «двуперстные» были объявлены еретиками и прокляты. Старообрядцы восстали, первым взбунтовался Соловецкий монастырь, началась религиозная гражданская война со всеми вытекающими особенностями фанатической нетерпимости (включая массовые *самосожжения*). В 1682 году состоялась первая массовая казнь старообрядцев, а в 1685 году Правительница Софья издала «12 статей» – законов, по которым начались изгнания, пытки, массовые казни, в том числе и сожжения на кострах и в срубках, тысяч и тысяч нераскаявшихся раскольников – последователей Стоглавого собора 1551 года...

Следует подчеркнуть, что речь идет о тысячах *нераскаявшихся* раскольников – иначе говоря, о массовом неприятии новых канонов Православия, отхода от старины и традиций, о сопротивлении и негибкости в вопросе веры как *правиле духовной* жизни староверов любой формации (кроме *единоверцев*). То есть все о том же: попытки не только естественной, но и насильственной смены веры практически не работают, при всех исключениях.

Как и в Испании, в России, согласно Соборному Уложению, казнь «еретиков» свержала светская власть (духовенство не могло себя кровью марать!), но по указу церковных иерархов. Учились, учились. Особенно возбудились никониане после Собора 1666 года. Так,

– в 1666 году «*богомерзкий чернец Вавилко /проповедник Вавила/ сожжен за свою глупость*», как сообщал старец Серапион;

– в 1671-72 годах в Москве сожжены Авраамий, Исая, другие, а в Печенгском монастыре – Иван Красулин;

– в 1675 году семь мужчин и семь женщин – староверов были сожжены под Вяткой (Хлынов);

– в 1676 году в сруб «с кореньями» вошли Ломоносовы Панко и Аноска, сожгли также инока Филиппа и ещё несколько неизвестных старообрядцев;

– в 1683 году сожгли старовера Варлама и проповедника Андроника: «*Того черныца Андроника за ево против святого и животворящаго креста Христова и Церкви Ево святой*

противность казнить, зжечь», – начертала царевна Софья Алексеевна;

– на Пасху 1685 года Патриарх Иоаким указал светской власти сжечь в срубах около девяноста еретиков...

Петр Первый положение раскольников облегчил. В 1716 году он отменил «Статьи» Софьи. Старообрядцам было разрешено «жить», пусть и на полуполюгальном положении. «За оный раскол» они должны были платить «всякие платежи вдвое». За соращение в раскол – старообрядческое богослужение и совершение треб – полагалась смертная казнь различной степени лютооти.

Так, за соращение в раскол были казнены проповедник, «изувер-раскольник» и книгописец (переписчик книг) законоучитель староверов Григорий Талицкий и иконник (иконописец) Иван Савин. Правда, в этом религиозном процессе был особый смысл, своя, как говорят ныне, изюминка. Как описывал Ю. Ф. Самарин в работе «*Стефан Яворский и Феофан Прокопович*», «его /«Вора» Григория Талицкого. – Автор/ схватили, начался суд. Стефан Яворский обличал его в присутствии самого Петра, который также принимал участие в прении и помог Стефану кстати приведенными текстами из Священного Писания», То есть «прении» проходили на высоком теологическом уровне, где просвещенный Царь блистал эрудицией. Да и «Синодальный указ» от 17 мая 1722 года, казалось, свидетельствует о сугубо религиозном диспуте Талицкого с оппонентами и лежит исключительно в

сфере вопросов веры: *«Вор Талицкий объявил при исповеди своему духовному отцу свое злейшее намерение, а именно писал письма, которые хотел везде подметывать к возмущению, ставя себе то за истину и не отлагая оно, и не каясь, и священник, хотя ему в том претил, однако же причастил Святых Тайн и не донес...»*

Однако в результате прений Талицкий и Савин были приговорены к исключительной даже по меркам сердобольного Царя мере наказания – *копчению*. Вышеупомянутая «изюминка» заключалась в том, о чем писал Талицкий в этих подметных письмах и в своих известных «Тетрадах», которые читал прилюдно, распространял рукописные копии и пытался напечатать. А писал он не только «против веры». Надо отметить, что сам Григорий был из села Большие Талицы, Костромской губернии. Как писал П. Мельников-Печерский, «население Талиц сплошь раскольнические /.../; раскольники закоренелые». Плюс славились они своей упертостью, несгибаемостью; недаром говорили, что Х. – упрям, «да он что твой талицкий», т. е. из Талиц. Но писал Григорий из Талиц не только против никониан, яростно отстаивая Древлеправославную веру отцов. Писал он, главным образом, против «Антихриста» – царя Петра Алексеевича. Причем не только обличал, говоря о наступлении «последнего времени» – о приходе в мир Антихриста, но излагал «программу» конкретных действий: не платить податей, не подчиняться царской власти, стрельцам, «буде идти царь воева-

ти», восстать против него и посадить на трон боярина князя Михаила Алегуковича Черкасского, ибо «милостив он» и будет народу «добро от оного». Затейка Талицкого пришлась не только его ближним староверам, но и многим боярам и представителям духовенства. Тамбовский епископ Игнатий «рыдал над чтением написанного в Тетрадах, целовал последние». Князь Иван Хованский с «сочувствием» внимал Григорию. Царевич Алексей был почитателем суждений Талицкого. Более того, эти идеи о приходе Антихриста прижились и ещё долгое время смущали именитый и простой люд. Как утверждал упоминавшийся П. Мельников-Печерский, «до сих пор держится в Талинах мысль, что Петр I – антихрист...», а это уже середина XIX века. Так что мысли «изувера-раскольника» пустили глубокие корни, и костра ему было не миновать. Но просто сожжение, тем более в сруб, царю показалось слишком мягким наказанием, Талицкий был не просто законоучителем раскольников, склоняющим в свою веру, но «извергом», так как посмел обличать самого Петра. Посему остановились на копчении заживо. Обоих.

Процесс этой казни схож с технологией, применяемой в пищевой индустрии. Осужденных подвешивали – привязывали к деревянному стержню, нечто похожее на шампур, и помещали в горизонтальном положении над открытым огнем так, чтобы языки пламени не доставали до тела. В костер добавляли специальные травы, дабы дым был более едким. Жар становился нестерпимым, сгорали волосы жертв,

затем лопалась кожа, выступал подкожный жир и плавился. Однако люди оставались в сознании. Через некоторое время иконник Савин не выдержал, покаялся. Его сняли с вертела, священник отпустил его грехи, и Иван Савин был обезглавлен. Талицкий проклял своего подельника. Его пытка-казнь продолжалась более 7 часов, он превратился в почерневшую головешку, но сознания не лишился, не дрогнул и не раскаялся. Не произнес ни слова. Хрипел. Откуда такая жестоковыйность?!

В XXI веке кажутся непостижимыми и немислимыми та сила духа и тела, то упорство и та упертость, ничем непоколебимая приверженность к исповедуемым ценностям, независимо от качества и смыслов этих абсолютно несхожих ценностей, та мощь связей с миром отцов, их верой и верованиями, которые были неотъемлемой частью бытия и сознания тысяч и тысяч наших далеких предков разного пола, различных религий, национальностей, рас, возрастов. Хотя странно: казалось бы, после XX века, да и после начала XXI, после немислимых страданий, жестокостей, лжи, предательств, зверств и насилий, после неистового разгула наглой и тупой силы, прежде всего, в просвещенных странах Европы и в России, после невиданного никогда ранее моря крови и боли, – после всего этого человечество должно было бы закалиться и окрепнуть. Очиститься, прозреть. Человечиться. Просто – поумнеть, научиться учиться. Однако не получилось. Видимо, подобного рода исторический шок

вводит в действие другие механизмы. И поколения, пережившие XX век, получили столь мощные отупляющие, обезволивающие – анестезирующие сознание травмы, атрофирующие не только сочувствие, сострадание, но инстинкт самосохранения, что именно они – эти травмы – будут регулировать менталитет потомков не одной генерации в XXI веке в России.

...Откуда такая жестоковыйность не только у сынов Израиля, своей жестоковыйностью нарушивших даже безграничное терпение Б-га (*Исход 33:1–3*), но у власть имущих и безграмотных, престарелых и малолетних, иудеев и не иудеев, староверов и «башкиров», праведников и бандитов? Жестоковыйность, с особой силой проявлявшаяся в фанатичной преданности вере предков.

Последнее в России сожжение за апостасию (то есть переход из православия в другую религию, согласно 22-й статье Соборного Уложения 1649 года), свершилось в апреле 1739 года – сожгли 60-летнюю «башкирку» Кисябику /Екатери́ну/ Байрясову. Ее крестили насильно, после пленения во время одной из карательных экспедиций; она трижды сбегала, ее ловили и возвращали в Екатеринбург. Прекрасно, видимо, понимая, что ее ждет, она всё равно пыталась оставаться Кисяби́кой, но не Екатери́ной. После третьей попытки взошла в костер.

В первой половине осмнадцатого века Российская Империя простиралась уже до Амура и Камчатки, однако в

Приуралье, особенно в регионе Южного Урала было неспокойно. Племена, условно маркировавшиеся тогда как «башкирские» (по имени доминирующего в регионе этноса), хотя это также были, в меньшей степени, и татарские, и другие, более мелкие: удмурты, мари, казахи, – эти племена власть центральной имперской администрации игнорировали; более того, по мере возможности оказывали ей энергичное противодействие, совершая набеги на русские поселения, захватывая заложников, поджигая леса, посева, отравляя водоемы. Такой очаг напряженности существовал долго, давая обильное подкрепление любым волнениям и бунтам русской черни, вплоть до времен Салавата Юлаева, да и позже – до большевиков. При всем этом Южный Урал, верховья Яика были не просто территорией Империи, но ее промышленным центром: владения Главной Горной Канцелярии – шахты, рудники, кузницы, металлургические и оружейные заводы и все полагающиеся службы работали на всю страну. Соседство буйных «башкир» было чрезвычайно обременительно, посему меры по укрощению «туземцев» – хозяев этих земель – были решительны, беспощадны и разнообразны: от казней, пыток, взятия заложников до... крещения. По негласному согласованию со светскими властями, установилась традиция давать полное прощение любому преступнику-башкиру (кроме «убивц») в случае принятия им Православия, однако оговаривалось, что возврат к исламу есть тягчайшее преступление и прощения не будет. Практика эта

была весьма сомнительного свойства, недаром против нее с разной степенью активности выступали Святейший Синод и православные иерархи. Кстати, значительно позже подобная процедура была реанимирована во время польского восстания 1830 года: военные власти стали прощать пленных повстанцев, если они переходили из Католичества в Православие. В этом случае священство обратилось с настоятельной просьбой к Николаю остановить подобную инициативу; Николай соизволил согласиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.